

Санд Ж.



**СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ:
ЛЕЛИЯ**

Жорж Санд. Собрание сочинений

Жорж Санд
Лелия

«Алгоритм»

1833

УДК 82/89
ББК 84(4Фр)

Санд Ж.

Лелия / Ж. Санд — «Алгоритм», 1833 — (Жорж Санд.
Собрание сочинений)

ISBN 978-5-486-02432-0

Жорж Санд (1804–1876) – псевдоним французской писательницы Авроры Дюпен-Дюдеван, чье творчество вдохновлялось искренними идеями борьбы против социальной несправедливости, за свободу и счастье человека. В ее многочисленных романах и повестях идеи освобождения личности (женская эмансипация, сочувствие нравственно и социально униженным) сочетаются с психологическим воссозданием идеально-возвышенных характеров, любовных коллизий. Путеводной нитью в искусстве для Жорж Санд был принцип целесообразности, блага, к которому нужно идти с полным пониманием действительности, с сознанием своей правоты, с самоотречением и самозабвением. Герои философского романа «Лелия» не столько реальные люди, данные в их неповторимости и своеобразии, сколько выразители различных философских взглядов, символы того или иного миропонимания или мироощущения.

УДК 82/89
ББК 84(4Фр)

ISBN 978-5-486-02432-0

© Санд Ж., 1833
© Алгоритм, 1833

Содержание

Часть первая	6
Глава I	6
Глава II	7
Глава III	10
Глава IV	11
Глава V	13
Глава VI	14
Глава VII	15
Глава VIII	17
Глава IX	20
Глава X	21
Глава XI	24
Глава XII	25
Глава XIII	27
Глава XIV	33
Глава XV	36
Глава XVI	37
Глава XVII	38
Глава XVIII	39
Глава XIX	41
Глава XX	42
Глава XXI	43
Глава XXII	47
Часть вторая	49
Глава XXIII	49
Глава XXIV	57
Глава XXV	61
Глава XXVI	64
Глава XXVII	66
Глава XXVIII	68
Глава XXIX	70
Глава XXX	78
Конец ознакомительного фрагмента.	79

Жорж Санд Лелия

© ООО ТД «Издательство Мир книги», оформление, 2009

© ООО «РИЦ Литература», состав, комментарии, 2009

Часть первая

Когда, поддавшись легковерной надежде, кто-то решается окинуть участливым взглядом сомнения истерзанной, опустошенной души, стремясь проникнуть вглубь, чтобы ее исцелить, он повисает над бездной, в глазах у него темнеет, голова кружится – это холод смерти.

Неизданные мысли отшельника

Глава I

«Кто ты? И почему любовь твоя приносит столько зла? В тебе, должно быть, скрыта некая тайна, неведомая людям и страшная. Можно с уверенностью сказать, что ты вылеплена не из той же глины, что все мы, – в тебя вдохнули другую жизнь! Верно, ты или ангел, или демон, но уж никак не человеческое существо. Почему ты скрываешь от всех нас свое происхождение, свою природу? Почему ты продолжаешь жить среди нас, если мы не можем тебя понять? Если ты послана Богом, говори, и мы будем тебя чтить. Если же ты явилась из ада... Ты – из ада? Ты, такая прекрасная, такая чистая! Может ли быть у духа зла такой божественный взгляд, такой гармонический голос? Может ли злой гений изрекать слова, которые возвышают душу и возносят ее к престолу Господню?

А меж тем, Лелия, в тебе есть что-то от дьявола. Горькая улыбка омрачает твой обещающий счастье взгляд. Иные слова твои повергают в отчаяние, как все безбожное; временами ты как будто заставляешь усомниться – и в Боге, и в тебе самой. Почему, почему вы такая, Лелия? Где ваша душа, ваша вера, когда вы решаетесь отрицать любовь? О, небо! Вы в силах произносить кощунственные слова! Но кто же вы, если вы действительно думаете так, как порой говорите?»

Глава II

«Лелия, я боюсь вас. Чем больше я вижу вас, тем меньше я вас понимаю. Вы кидаете меня в море тревог и сомнений. Вы как будто забавляетесь моей мукой. То вы подымаете меня к небу, то втоптываете в землю. То увлекаете меня за собою к сияющим облакам, то низвергаете в темный хаос! Моему слабому разуму не выдержать таких испытаний. Лелия, пощадите меня!

Вчера, когда мы блуждали по горам, вы были такой величественной, такой возвышенной, что мне хотелось стать перед вами на колени и целовать благоуханные следы ваших ног. Когда Христос преобразился в золотистое облако и на глазах у своих учеников воспарил среди пламени, они простерлись перед ним ниц и сказали:

— Господи, воистину ты Сын Божий!

И потом, когда облако растаяло и пророк спустился со своими учениками с горы, те в тревоге стали вопрошать друг друга:

— Неужели этот человек, что идет вместе с нами, говорит на нашем языке и собирается разделить нашу трапезу, это тот самый, которого мы только что видели окутанного пламенем и осиянного духом Господним?

Также вот и вы, Лелия! Каждое мгновение вы преображаетесь на моих глазах, а потом сбрасываете свою Божественность, чтобы сделаться равной мне, и тогда я в ужасе спрашиваю себя, не есть ли вы небесная сила, некий новый пророк, еще раз воплотившееся в образе человека слово, и не хотите ли вы поступками своими испытать нашу веру и распознать среди нас истинных христиан.

Но Христос, эта великая мысль в образе человека, это высшее олицетворение бессмертной души, всегда раздвигал пределы, которые Ему ставили Его плоть и кровь. Напрасно Он снова принимал человеческий образ, Ему не удавалось затеряться среди людей — Он неизменно становился среди них первым.

Вот что меня больше всего пугает в вас, Лелия: когда вы спускаетесь со своих высот, вам не удается удержаться даже на том уровне, на котором находимся все мы, вы падаете еще ниже и развращенным сердцем своим как будто хотите властвовать над нами. Иначе — что означает эта глубокая, жгучая, незатухающая ненависть к нам, людям? Можно ли любить Бога так, как любите вы, и так жестоко ненавидеть его творения? Допустимо ли, чтобы высокая вера уживалась с закоренелым безбожием, порывы, устремленные к небу, — с наущением дьявола? Еще раз скажите, откуда вы, Лелия? В чем ваше назначение на земле — спасти или мстить?

Вчера, когда солнце садилось за ледником, окутанное голубовато-розовой дымкой, когда нежный воздух чудесного зимнего вечера овеивал ваши волосы и заунывные звуки колокола эхом отдавались в долине, знайте, Лелия, тогда вы были настоящей дочерью неба. Ласковые лучи заката отблеском своим озаряли ваше лицо, окружая вас каким-то волшебным ореолом. Глаза ваши, воздетые к лазурному своду, где еще только начинали загораться одинокие звезды, пламенели священным огнем. Поэт лесов и долин, я слушал таинственные шепоты вод, я глядел на едва заметное колыхание сосен и вдыхал нежный запах лесных фиалок, которые в первый же теплый день, с первым же лучом согревшего их солнца раскрывают под высохшим мхом свои голубые цветы. Но вас это нисколько не занимало; ни цветы, ни лес, ни водный поток не привлекали к себе вашего взгляда. Ничто земное не пробуждало в вас никаких чувств, вы вся были на небесах. И когда я хотел обратить ваше внимание на изумительную картину, расстилавшуюся у наших ног, вы сказали мне, воздев руку к воздушному своду: «Взгляните ввысь!» О Лелия, вы воздыхали по вашей отчизне, не правда ли?

Вы спрашивали Бога, почему Он так надолго оставил вас среди смертных; почему Он не возвращает вам ваших белых крыльев, чтобы вы могли улететь к Нему.

Но когда в зарослях вереска поднялся холодный ветер и нам пришлось искать убежища в городе, когда, привлеченный звуками колокола, я просил вас войти со мной в церковь и прослушать вечернюю мессу, увы, Лелия, почему вы тогда не покинули меня? Почему вы, владеющая силой совершать и более трудные деяния, не приказали облаку сойти на землю и окутать ваше лицо? Увы! Зачем я увидел вас, когда вы стояли, нахмутив брови, надменная и жестокая? Зачем вы не опустились на каменные плиты, не столь холодные, как ваше сердце? Зачем вы не скрестили рук на своей груди, которую присутствие Бога должно было бы наполнить умилением или ужасом? Откуда это гордое спокойствие и это открытое презрение к нашим церковным обрядам? Неужели же вы не чтите истинного Бога, Лелия? Или вы явились сюда из знойных краев, где поклоняются Бrame, или с берегов больших безымянных рек, где люди молятся злему духу, отвергая доброго? Мы ведь не знаем ни вашей семьи, ни страны, где вы родились. Никто этого не знает, окружающая вас тайна помимо нашей воли заставляет пускаться в догадки, вселяя в нас суеверный страх.

Вы бесчувственная! Вы нечестивая! Нет, не может быть! Но скажите мне, бога ради, что же творится в эти ужасные часы с душою, проникнутой поэзией, с великой душою, объята восторгом и трепетом, исторгающей пламя, которое перекидывается и на нас, увлекая за собою в область неизведанных ощущений? О чем вы думали вчера, что сделали вы с собою, когда, немая и холодная, вы стояли в храме, как фарисей, взирая на Бога без трепета, не внемля песнопениям, не чувствуя запахов ладана и облетающих цветов, не слыша звуков органа, не ощущая всей поэзии, заполонившей благословенные стены? А сколько красоты было в этой церкви, напоенной влажными ароматами, где все трепетало от торжественных песнопений. Как пламя серебряных светильников, бледное и тусклое, вливалось в опаловые клубы раскаленных смол, в то время как из золоченых кадилъниц вились, поднимаясь к самому своду, кольца благоуханного дыма! Сколько изящества было в золоченых гранях дарохранильницы, как они сверкали, отражая сияние свеч! А когда священник, этот высокий, красивый ирландский священник, черноволосый, с величественной осанкой, суровым взглядом и звучной речью, медленно спустился со ступенек амвона, влача по ковру свою длинную бархатную мантию; когда он заговорил своим громким голосом, грустным и понижающим насквозь, как ветры его страны, когда, вынося блистающую дароносицу, он произнес это слово, с такой силой прозвучавшее в его устах: «Adoremus!»¹, тогда, Лелия, я почувствовал, что меня охватывает священный трепет, я упал на колени прямо на мраморные плиты, я ударил себя в грудь, я опустил глаза.

Но ваши мысли так тесно связаны в моей душе со всеми великими мыслями, что я почти тотчас же повернулся к вам, чтобы разделить с вами это сладостное волнение или, может быть, да простит меня Господь, чтобы обратиться к вам половину моих смиренных молитв.

Но вы, вы продолжали стоять! Вы не преклонили колен, не опустили глаз! Ваш гордый взгляд холодно и испытующе обвел священника, остию, простертую толпу; вам ни до чего не было дела. Одна-единственная среди нас всех, вы не стали молиться Богу. Неужели же вы – существо более могущественное, чем Он?

Так вот, Лелия (да простит меня еще раз Господь!), на какую-то минуту я этому поверил и едва не отпрянул от Бога, чтобы все молитвы мои вознести к вам. Я дал себя ослепить и поработить таившейся в вас силе. Увы! Надо признаться, никогда еще я не видел вас такою красивой. Вы были бледны, как одна из тех статуй белого мрамора, что стоят у надгробий, в вас не осталось уже ничего земного. Глаза ваши горели темным огнем, и ваш высокий лоб, с

¹ «Помолимся!» (лат.)

которого вы смахнули черные пряди волос, величественно и гордо высился над толпой, над священником, над самим Господом Богом. Глубина вашего нечестия вселяла страх, и при виде того, как вы окидываете взглядом пространство между нами и небом, все окружающие ощущали свое ничтожество. Не вас ли видел Милтон, изобразивший таким благородным и таким прекрасным чело своего падшего ангела?²

Говорить ли вам об ужасе, который меня тогда охватил? Мне казалось, что в ту минуту, когда священник, возносивший символ веры над нашими склоненными головами, увидел вас – а вы возвышались, как и он, над толпой, вы стояли так, будто вас было в мире только двое, – да, мне показалось, что тогда взгляд его, глубокий и строгий, встретив ваш бесстрастный взгляд, невольно потупился. Мне показалось, что священник побледнел, что чаша едва не выпала из его задрожавших рук и что голос замер в его могучей груди. Что это, бред моего расстроенного воображения или действительно, когда служитель Всевышнего увидел, что вы противитесь изреченному им слову Божию, негодование сдавило вдруг ему горло? Или в эту минуту у него, как и у меня, была необыкновенная галлюцинация: ему почудилось в вас что-то сверхъестественное, сила, исторгнутая из бездны, или откровение, ниспосланное небом».

² ...Милтон, изобразивший таким благородным и таким прекрасным чело своего падшего ангела? – Речь идет о поэме Джона Милтона (1608–1674) «Потерянный рай», где падший ангел Сатана воплощает богоборческое начало.

Глава III

«Какое тебе до этого дело, юный поэт? Зачем тебе хочется знать, кто я и откуда явилась?.. Я родилась, как и ты, в долине слез, и все несчастные, что ползают по земле, – мои братья. А так ли уж велика эта земля – ее ведь можно обнять мыслью, а ласточка облетает ее вокруг за несколько дней? Что может быть необычайного и таинственного в человеческом существе? Можно ли приписывать столь большое влияние солнечному лучу, который всюду почти под прямым углом падает нам на головы? Полно! Мир этот очень далек от солнца; он очень холоден, очень бледен, очень тесен. Спроси лучше у ветра, сколько часов ему нужно, чтобы растряссти его весь от полюса и до полюса.

Родись я на противоположном конце земли, мы и то очень мало бы рознились друг от друга. Мы оба осуждены страдать, оба слабы, несовершенны, надорваны всеми нашими радостями, вечно в смятении, жадные до неведомого счастья, вечно не в себе, – вот наша общая участь, вот что сближает нас как товарищей, как братьев на этой земле, где все изгнание и рабство.

Вы спрашиваете, не есть ли я существо иной природы, чем вы? Неужели вы думаете, что я не страдаю? Я встречала людей более несчастных, чем я, по положению, но куда более счастливых по характеру. Не все люди способны в одинаковой степени страдать. В глазах великого мастера, ниспосылающего нам страдания, эти различия наших натур, разумеется, значат не так уж много. Что же касается нас, существ с ограниченным кругозором, то мы целых полжизни разглядываем друг друга и примечаем различие оттенков, которые принимает явившееся к нам в жизнь горе. Какое это имеет значение для Бога? Не больше, чем для нас различие травинки где-нибудь на лугу.

Вот почему я не молюсь Богу. О чем мне просить Его? Изменить мою участь? Он посмеялся бы надо мной. Дать мне силу справиться с посланным мне страданием? Но ведь Он уже дал ее, и мне надо только воспользоваться ею.

Вы спрашиваете, не поклоняюсь ли я злему духу. Злой дух и добрый дух едины, это и есть Бог: это неведомая и таинственная воля, которая превышает воли каждого из нас. Добро и зло – понятия, созданные нами самими. Бог не знает их, как не знает Он счастья и несчастья. Поэтому не спрашивайте тайны моего предназначения ни у неба, ни у ада. Это я могу упрекнуть вас в том, что вы заставляете меня непрерывно то кидаться куда-то выше себя самой, то опускаться ниже. Поэт, не ищите во мне этих глубоких тайн: душа моя – родная сестра вашей, вы огорчаете ее, и вы отпугиваете ее тем, что хотите измерить ее глубину. Берите ее такой, какая она есть, как душу, которая страдает и ждет. Если вы будете так жестоко все у нее выпытывать, она затворится в себе и больше не дерзнет вам открыться».

Глава IV

«Я слишком откровенно высказал свое назойливое беспокойство о вас, Лелия; я оскорбил этим вашу целомудренную душу. Я ведь тоже очень несчастен, Лелия! Вы думаете, я разглядываю вас с любопытством, достойным философа. Вы ошибаетесь. Если бы я не чувствовал, что принадлежу вам, что с этой поры мое существование неразрывно слито с вашим, словом, если бы я страстно вас не любил, у меня не хватило бы смелости расспрашивать вас, будь вы даже *объектом*, на редкость интересным для физиолога.

Все, кто видел вас, разделяют то недоумение, которое я осмелился высказать. Люди в удивлении спрашивают, кто вы – проклятое или избранное существо, любить вас или бояться, принять или оттолкнуть; грубая чернь оставляет присущую ей беспечность, чтобы устремить все свое внимание на вас. Ни выражение ваших губ, ни звук вашего голоса ничего для нее не значат, и стоит только послушать нелепые их разговоры, как убеждаешься, что все эти люди в равной степени готовы и бросаться перед вами на колени, и проклинать вас как наваждение. Люди более образованные внимательно наблюдают за вами, одни из любопытства, другие из симпатии; но ни для кого из них это не вопрос жизни и смерти, как для меня. У меня одного есть право быть смелым и спрашивать вас, кто вы, ибо (я это ощущаю всеми фибрами души, и чувство это слито для меня со всею жизнью) отныне я сделался частью вашего существа, вы завладели мною, может быть сами того не замечая; но так или иначе, я уже поработен, я больше себе не принадлежу, душа моя не может больше жить сама по себе. Ей уже недостаточно Бога и поэзии: Бог и поэзия – для нее теперь вы, а без вас нет ни поэзии, ни Бога, нет вообще ничего.

Так скажи мне, Лелия, раз ты хочешь, чтобы я считал тебя женщиной и говорил с тобою как с равной, скажи, есть ли у тебя сила любить, из огня или изо льда твоя душа и, отдавшись тебе – а я ведь действительно тебе отдался, – обрекаю я себя на гибель или готовлю себе спасение. Я ведь ничего не знаю и в ужасе вззираю на неведомый путь, которым мне предстоит идти за тобой. Грядущее затянуто тучами, порою розовыми и светящимися, вроде тех, что виднеются на горизонте, когда восходит солнце, порою же багровыми и темными, как те, что предвещают грозу и таят в себе молнии.

Начал ли я вместе с тобою жизнь или, напротив, окончил, чтобы последовать за тобою в смерть? Во что обратишь ты все, чем я жил доселе, мои спокойные, неискушенные годы? Увянут они от твоего дыхания или вновь расцветут? Изведал ли я уже счастье и теперь его потеряю или только еще вкушу его, сам не зная, какое оно? Годы эти были так хороши; в них была и свежесть и сладость! Но вместе с тем они были спокойны, темны, бесплодны! Всю мою жизнь, с тех пор как я появился на свет, я только мечтал, ждал, надеялся... Создам ли я наконец что-нибудь свое? Сделаешь ты меня великим или достойным презрения? Преодолею ли я свое ничтожество, выйду ли из этого оупения, которое начинает меня тяготить? Сумею ли я подняться или опущусь еще ниже?

Вот о чем я спрашиваю себя каждый день с тревогой. А ты ничего мне не отвечаешь, Лелия, ты будто и не подозреваешь, что речь идет о человеческой жизни, о чьей-то участи, слитой с твоей, за которую ты теперь должна отвечать перед Богом!

Рассеянная и беспечная, ты взяла в свои руки один конец моей цепи и каждую минуту забываешь о ней, роняя ее на землю!

Теперь я страшусь своего одиночества, страшусь того, что ты можешь покинуть меня. И вот я призываю тебя и заставляю спускаться вниз из неведомых пределов, куда ты устремляешься без меня.

Жестокая Лелия! Как вы счастливы тем, что душа ваша свободна и что вы можете мечтать одна, любить одна, жить одна. А я больше не могу, я люблю вас. Я люблю только вас. Все

эти пленительные образы красоты, все эти переодетые женщинами ангелы, которые являлись в моих мечтах, одаривая меня поцелуями и цветами, все они ушли. Они больше не приходят ко мне ни во сне, ни наяву. Теперь я вижу вас, только вас, бледную, спокойную и молчаливую, то рядом со мной, то на небе.

До чего же я жалок! Положение мое не из обычных; речь ведь идет не только о том, чтобы я решил, достоин ли я вашей любви, я ведь не знаю, способны ли вы вообще любить мужчину, и – мне стоит большого труда начертать это страшное слово, – скорей всего, *нет!*

О Лелия! Ответите ли вы мне на этот раз? Сегодня я дрожу, оттого что задал вам этот вопрос. Завтра я, может быть, снова уже смогу жить сомнениями и иллюзиями. Завтра, может быть, мне будет нечего бояться и не на что надеяться».

Глава V

«Какое же вы дитя! Давно ли вы появились на свет и уже торопитесь жить. Ибо надо вам сказать: вы еще не жили, Стенио. Куда вы так спешите? Неужели вы боитесь, что не успеете добраться до этой проклятой скалы, у которой все мы терпим крушение? Вы разобьетесь, как и другие, Стенио. Так пользуйтесь временем, не торопитесь, резвитесь вволю, чтобы как можно позже переступить порог школы, в которой учатся жизни.

Счастлив ребенок, спрашивающий, где счастье, какое оно, вкусил ли он его уже или только еще вкусит! О, глубокое и драгоценное неведение! Я не отвечу тебе, Стенио.

Не бойся ничего, я не приведу тебя в уныние, открыв хоть что-нибудь из того, что ты тщишься узнать. Люблю ли я, могу ли вообще любить, одарю ли я тебя счастьем, буду ли добродетельной или развратной, будешь ли ты возвеличен моею любовью или уничтожен моим равнодушием: все это, видишь ли, не так просто узнать; Господу неугодно открывать эту тайну такому неискушенному юноше, и Он запрещает мне говорить с тобою об этом. Подожди!

Благословляю тебя, юный поэт, спи спокойно. Завтрашний день настанет, как и другие дни твоей юности, украшенный самым великим благодеянием Провидения, завесой, скрывающей от людей грядущее».

Глава VI

«Вот как вы всегда отвечаете! Ну что же! Ваше молчание наводит меня на мысль о предстоящих мне муках, и я вынужден только благодарить вас за то, что вы мне ничего не сказали. Вместе с тем это состояние неведения, которое вы считаете столь сладостным, на самом деле ужасно, Лелия; вы говорите о нем с высокомерной легкостью потому лишь, что вы его не испытали. Ваше детство, может быть, и было похоже на мое, но, думается, вспыхнувшей в вас первой страсти не приходилось столько бороться с тоской и страхами, как моей. Разумеется, вас уже любили, прежде чем вы полюбили сами.

Ваше сердце, это сокровище, о котором я бы все так же молил на коленях, будь я даже царем всей земли, ваше сердце должно было лишь ответить на пламенный призыв другого сердца; вы не знали томлений ревности и тревоги: любовь вас ждала, счастье ринулось вам навстречу, и вам достаточно было согласиться быть счастливой, быть любимой. Нет, вы не знаете, как я страдаю; иначе бы вы пожалели меня, ибо в душе-то вы ведь добры и поступки ваши доказывают это наперекор всем вашим словам. Я видел, как вы смягчали чужие страдания, видел, как вы творили евангельское милосердие с вашей злобной усмешкою на губах, видел, как вы кормили и одевали голодных и голых, продолжая изрекать ужасающие своим скептицизмом суждения. Вы добры прирожденной, не зависящей от вас добротой, которую ваше холодное раздумье не в силах отнять.

Если бы вы знали, каким вы меня делаете несчастным, вы бы пожалели меня; вы сказали бы, что мне делать: жить или умереть, ведь вы тотчас же даровали бы мне счастье, которое пьянит, или разум, который несет утешение».

Глава VII

«Кто этот бледный мужчина, который появляется сейчас, будто сумрачное видение, всюду, где появляетесь вы? Чего он хочет от вас? Откуда он вас знает? Где он вас видел? Почему в первый же день он пробрался сквозь толпу, чтобы взглянуть на вас, и вы тут же обменялись с ним печальной улыбкой?

Человек этот тревожит меня и пугает. Когда он приближается, я весь холодею; когда одежда его касается меня, по телу моему словно проходит ток. Вы говорите, что это великий поэт, который не показывается на людях. Его высокое чело обличает в нем гения, но я не нахожу в нем той небесной чистоты, той лучистой восторженности, которая присуща поэту. Человек этот мрачен и скорбен, как Гамлет, как Лара³, как вы, Лелия, когда вы страдаете. Мне неприятно видеть, что он ни на шаг не отходит от вас, приковывает к себе ваше внимание, поглощает ваше расположение к людям и ваш интерес ко всему земному.

Я знаю, что у меня нет права на ревность. Поэтому я и не буду говорить вам о том, как я иногда страдаю, но меня огорчает (огорчаться-то мне позволено), когда я вижу вас подпавшей под влияние этого зловещего человека. Ведь вы и без того такая грустная, такая разочарованная, вас надо бы поддерживать надеждой и нежностью. А вместо этого около вас находится существо отчаявшееся, опустошенное. Ибо человек этот иссушен дыханием страстей. В его окаменевших чертах нет и следа юношеской свежести, губы его разучились улыбаться, щеки не знают румянца; он ходит, говорит, совершает какие-то поступки, движимый привычкой, воспоминанием. Но искра жизни давно уже погасла в его груди. Я в этом убежден, я давно уже наблюдаю этого человека, я проник сквозь завесу окутывающей его тайны. Если он говорит вам, что любит вас, это ложь! Он уже не способен любить.

Но, может быть, тот, кто ничего не чувствует сам, способен возбудить чувство в других? Вот страшный вопрос, разрешить который я стараюсь уже давно, с тех пор как живу, с тех пор как я вас люблю. Я никак не решаюсь поверить, что столько любви и поэзии может истечь из вас, а в душе не таится очага той и другой. От человека этого веет таким холодом. Все, к чему он прикасается, становится таким отвратительным, что пример его утешает меня и воодушевляет. Если бы сердце ваше так же омертвело, я бы не любил вас, я питал бы к вам такой же ужас, как и к нему.

И вместе с тем в каком безысходном лабиринте сомнений терзается мой разум! Вы ведь не разделяете того ужаса, который человек этот мне внушает. Напротив, вас как будто притягивает к нему какая-то неодолимая сила. Бывают минуты, когда, видя вас вдвоем с ним на наших празднествах, обоих таких бледных, таких рассеянных среди кружащихся в танцах пар, среди смеющихся женщин и мелькающих в воздухе цветов, мне кажется, что из всех присутствующих только вы двое способны понять друг друга. Мне кажется, что в чувствах ваших и даже в чертах утверждается некое скорбное сходство. Что это, перенесенное горе роднит ваши чувства и даже черты? Или чужестранец этот, Лелия, в самом деле ваш брат? В жизни вашей все так таинственно, что я готов пускаться на всякие домыслы.

Да, бывают дни, когда я убеждаю себя, что вы его сестра. Так знайте же, ревность моя не опрометчива и не слепа – от предположения этого мне не становится легче. Мне все равно бывает больно видеть, как вы доверяете ему, как близки с ним, вы, такая холодная, такая недоверчивая, такая сдержанная, – с ним вы другая. Если он ваш брат, Лелия, то отчего же у него больше прав на вас, чем у меня? Неужели вы думаете, что я люблю вас не такой чистой любовью, как он? Неужели вы думаете, что, если бы вы были моей сестрой, я любил бы вас нежнее, заботливее? Ах, если бы вы были моей сестрой! Я бы ничем не запятнал

³ Лара – герой одноименной поэмы (1814) Байрона.

наших кровных уз. Вам не приходилось бы на каждом шагу сомневаться в чистоте глубокого чувства, которое вы возбуждаете во мне! Нельзя разве страстно любить сестру, если душа у вас страстная, а сестра такая, как вы, Лелия! Как бы много ни значили узы крови для натур заурядных, что значат они в сравнении с тем таинственным сродством душ, которым наделили нас небеса?

Нет, если он даже ваш брат, он не может любить вас больше, чем я, и вы не должны быть с ним откровеннее, чем со мной. Как же он счастлив, проклятый, если вы доверяете ему все ваши страдания и если у него есть сила их облегчить! Горе мне, вы не оставляете за мной даже права их разделить! Значит, я совершеннейшее ничтожество! Значит, любовь моя совсем ничего не стоит! Значит, я дитя, слабый еще и ни на что не годный, если вы боитесь переложить на меня хотя бы частицу вашего тяжелого бремени! О, я несчастлив, Лелия! Ибо несчастны вы, и вы не пролили ни одной слезы у меня на груди. Есть дни, когда вы стараетесь быть со мною веселой, будто боитесь стать мне в тягость, дав волю одолевающей вас печали. Ах, Лелия, эта учтивость ваша оскорбительна, я не раз от нее страдал! С *ним* вы никогда не бываете веселой. Подумайте сами, есть ли у меня основание быть ревнивым!»

Глава VIII

«Я показала ваше письмо человеку, которого здесь зовут Тренмор и настоящее имя которого знаю лишь я одна. Он отнесся с необычайным участием к вашему страданию, а сердце его (то самое сердце, которое, по-вашему, уже омертвело) преисполнено такого сочувствия, что он позволил мне поведать вам его тайну. Вы убедитесь, что с вами обходятся не как с ребенком, — это великая тайна, из тех, которые один человек редко доверяет другому.

Скажу вам прежде всего, почему я так интересуюсь Тренмором. Это несчастнейший из людей, каких только я встречала в жизни. Чашу страданий он испил до самой последней капли; у него есть над вами большое, неоспоримое преимущество — он изведаль больше горя, чем вы.

Знаете ли вы, юноша, что такое горе? Вы едва только вступили в жизнь, вы выносите ее первые волнения, страсть ваша вскипает, кровь начинает быстрее бежать по жилам, вы теряете сон; страсть эта порождает новые ощущения, приступы тревоги, тоски, и вы называете это словом «страдать»! Вы думаете, что испытали это великое, страшное, торжественное крещение — крещение горем. Вы действительно страдали, но какое это благородное и драгоценное страдание — любить! Сколько поэзии из него родилось! Как горячо, как плодотворно страдание, которое можно высказать вслух и встретить сочувствие.

Но что сказать о том, которое приходится скрывать, как проклятие, прятать в глубинах души, как некое горькое сокровище; оно не жжет вас, а леденит; у него нет ни слез, ни молитв, ни мечтаний — холодное, окаменевшее, оно притаилось в глубинах сердца, чтобы денно и ночью напоминать о себе! Вот какое страдание испил Тренмор, вот чем он может гордиться в судный день перед Богом, ибо от людей эту муку приходится прятать.

Выслушайте историю Тренмора.

Он появился на свет в недобрый час, и, однако, люди считали участь его достойной зависти. Родился он богатым, но это было богатство князя, фаворита, ростовщика. Родители его разбогатели нечестным путем: отец его был любовником легкомысленной королевы, мать — служанкой своей соперницы, и так как все эти бесстыдства прикрывались роскошными ливреями и громкими титулами, их отвратительная жизнь при дворе вызывала гораздо больше зависти, чем презрения.

Итак, Тренмор рано окунулся в светскую жизнь, и на пути его не было никаких препон. Но в том возрасте, когда наивные стыд и робость мешают людям переступить порог, его не знавшая настоящей юности душа приближалась к жизненному пиру без смущения и без любопытства; это была душа неразвитая, невежественная и уже ослепленная дерзкими парадоксами и цинизмом. Его не научили распознавать добро и зло; родители не утруждали себя его воспитанием, боясь, что он станет презирать их и от них отречется. Его научили только тратить золото на легковесные удовольствия, на бессмысленное бахвальство. В нем взрастили все ложные потребности, научили его всем ложным обязанностям, которые делают богачей несчастными. Но если его и можно было обмануть в отношении необходимых для человека добродетелей, природу его и инстинкты переделать было нельзя. Тут тлетворное начало вынуждено было остановиться, тут развращенность должна была уступить место Божественному бессмертию разума. Гордость, которая есть не что иное, как ощущение собственной силы, возмутилась окружающей жизнью. Тренмор увидел картины рабства, но он не мог их вынести, ибо слабость человеческая приводила его в ужас. Вынужденный жить, не ведая, что такое добродетель, он нашел в себе силу оттолкнуть все, что носило печать страха и лжи. Воспитанный среди ложных благ, он научился только тщеславию и распутству, которые неизбежно должны были его всех этих благ лишить; он не постиг и не принял низость, которая помогает людям снова их обрести.

У природы есть свои таинственные ресурсы, свои неиссякаемые сокровища. Из сочетания самых дурных элементов она нередко создает замечательные творения. Хотя семья его и погрязла в пороках, Тренмор родился великим, но он был суров, груб и страшен, словно сила, призванная бороться, словно одно из тех растущих в пустыне деревьев, которые защищены от вихрей и гроз своей твердой корой и глубокими корнями. Небо одарило его разумом; душа его знала Божественное прозрение. Его близкие старались заглушить в нем это духовное начало и насмешливо разгоняли реявшие вокруг колыбели небесные видения, уча его искать радости жизни в материальных благах. В нем воспитали животное, дикое и необузданное, да иначе и быть не могло. Но сила его натуры облагораживала эти животные черты. Тренмор был так устроен, что после ночей разгула у него не было чувства подавленности, а чаще всего наступала какая-то экзальтация. От непробудного пьянства своего он жестоко страдал, оно возбуждало в нем неумную жажду радостей души – радостей, которых он еще не изведal и даже не знал, как они называются! Вот почему все наслаждения мигom превращались у него в гнев, а гнев – в скорбь. Но что это была за скорбь? Тренмор напрасно искал причины этих слез, падавших на дно чаши на пиршестве, словно ливень с грозой среди знойного дня. Он спрашивал себя, почему ни смелость и энергия его богатой натуры, ни его несокрушимое здоровье, ни все жестокие прихоти и непреклонный деспотизм не могли утолить ни одно из его желаний, почему ни одна из его побед не заполняла зияющей пустоты?

Он был так далек от понимания своих истинных потребностей и способностей, что в детстве еще им овладела странная мысль. Он вообразил, что над ним тяготеет злой рок, неведомый вершитель событий, возненавидевший его, когда он был еще во чреве матери, и что теперь он вынужден искупать грехи, которых не совершил. Он, краснея, вспоминал, что родители его придворные, и говорил иногда, что единственная его добродетель, гордость, на самом деле проклятие, ибо злой рок рано или поздно ее должен сломить. Таким образом, страх и кощунство – таковы были единственные отблески, оставшиеся у него в душе от небесного света; и весь ужас этот породила в нем жизнь. Это была болезнь мозга, исполненного самых благородных побуждений, но сжатого тяжелым и тесным обручем слабости. Простые люди, которые оказались свидетелями происшедшей с Тренмором катастрофы, были поражены слетевшим с его уст пророчеством и тем, что оно потом сбылось. Они никак не могли согласиться с тем, что это в порядке вещей, что это лишь простое предчувствие и неизбежный конец печальной истории, представлявшейся им лишь внешне в образе дворца и тюрьмы: шумного благоденствия и спрятавшейся от глаз тоски.

Объезжать лошадей, возиться с псарями, окружать себя самыми разнородными произведениями искусства без всякого разбора и понимания, упиваться роскошью порочной и праздной, держать лакеев изнеженных и распущенных, при этом еще больше, чем о них, заботясь о своре свирепых псов, жить среди шума и насилия, под вой ищек с окровавленной плоткой, под песни оргий и ужасающее веселье женщин, которых он поработил своим золотом, ставить на карту свое состояние и жизнь, чтобы заставить говорить о себе, – вот чем первое время развлекался этот незадачливый богач. На лице его едва успел пробиться пушок, как все эти развлечения ему опостытели. Шум уже больше не возбуждал его, вино больше не согревало, загнанный олень уже не тешил его жестокие инстинкты; инстинкты эти присущи всем людям, они развиваются и растут, удовлетворяя себя, и чем независимее человек, чем прочнее занимаемое им положение, тем меньше он их стыдится, тем меньше боится закона. Ему доставляло удовольствие бить собак; скоро он стал бить и своих наложниц. Их песни и смех уже не оживляли его; ругань и дикие крики еще чуть-чуть его будоражили. По мере того как в отяжелевшем мозгу пробуждался зверь, Божественное гасло во всем его существе. Пребывая в безделье, он ощущал в себе силы, которые не на что было направить; сердце терзалось от безграничной скуки, от неопишуемого страдания. Тренмор ни к чему не мог привязаться. Вокруг него все было низко, развращено; он не знал, где отыскать людей с

благородным сердцем. Он в них не верил. Бедных он презирал, ему говорили, что бедность порождает зависть, и он презирал зависть, потому что не понимал, как это она может терпеть бедность и не возмутиться. Он презирал науку, потому что прошло уже то время, когда он мог бы понять ее благодеяния. Он видел только результаты ее в промышленности, но считал, что покупать их благороднее, чем продавать. Ученые внушали ему жалость, и ему хотелось, чтобы они стали богаче и могли пользоваться всеми благами жизни. Он презирал благоразумие, потому что у него были силы для распутства, а воздержание казалось ему бессилием. Но и в его преклонении перед богатством и любви к соблазнам таилась какая-то необъяснимая непоследовательность, – в самом разгаре празднеств он вдруг начинал испытывать отвращение ко всему на свете. Все элементы его существа были в разладе между собою. Он ненавидел людей и вещи, без которых не мог обойтись, и вместе с тем он отталкивал от себя все, что могло бы увести его с проклятых путей и успокоить его тайные страхи.

Вскоре его охватила какая-то ярость; казалось, что его золотой храм и та атмосфера наслаждения, в которой он жил, сделались ему омерзительны. Во время своих оргий он принимался ломать мебель, разбивать зеркала и статуи, которые потом выбрасывал из окон в толпу народа. Он срывал со стен дорогую обивку, разбрасывал вокруг золото для того только, чтобы от него избавиться; пачкал всяческой мерзостью богато накрытые столы и выгонял на грязные улицы своих увенчанных цветами наложниц. Слезы их приносили ему минутную усладу; он мучил этих женщин, и ему казалось, что их корыстные вожеления и отвратительный страх – одно из проявлений любви. Скоро, однако, возвращаясь к страшной действительности, он убегал в ужасе, оттого что в окружающем его гомоне и шуме притаилось столько одиночества и тишины. Он уединялся в своих пустынных садах, и ему мучительно хотелось плакать. Но у него уже не было слез, ибо у него не было сердца; не было у него и любви, ибо он не знал Бога. И эти ужасающие приступы тоски кончались неистовыми судорогами, а потом он засыпал сном, который был тяжелее смерти.

На сегодня довольно. В вашем возрасте люди бывают нетерпимы, и я бы вас оглушила, если бы за один день рассказала вам до конца тайну Тренмора. Я хочу, чтобы покамест вы подумали о том, что я вам уже рассказала; завтра вы узнаете остальное».

Глава IX

«Вы правы, что пощадили меня: то, что я узнаю, поражает меня, потрясает. Но вы переоцениваете мой интерес к тайне Тренмора, если думаете, что это именно она так меня тревожит. Больше всего меня волнует ваше собственное суждение обо всем этом.

Вы, должно быть, сами много выше других людей, если позволяете себе так легко относиться к преступлениям, совершенным против них? Впрочем, может быть, вопрос мой неправилен; может быть, общество людей столь достойно презрения, что сам я значу больше, чем оно; но простите мое смущение – я ведь еще совсем юн и ничего не успел узнать о настоящей жизни.

От всего, что вы говорите, у меня остается ощущение чересчур яркого солнца, которое слепит глаза, привыкшие к темноте. И вместе с тем я чувствую, что вы щадите их, укрываете их от света – из дружбы или из сострадания... О боже! Что же мне еще остается узнать? Каковы же те иллюзии, которые тешили меня в детстве? Вы говорите, что не следует презирать Тренмора? Или, если он и может вызвать презрение в высших существах, он не должен его вызывать во мне? Я не вправе судить его и говорить: «Я выше, чем этот человек, он только вредит себе и никому не приносит пользы»? Ну что же, пусть. Я молод, и я не знаю, что из меня выйдет, – я не прошел еще испытаний, которым подвергает нас жизнь. Но вы, Лелия, вы, которая душою своей и дарованиями выше всего, что существует на земле, вы можете осудить Тренмора и его ненавидеть; а вы не хотите этого делать! Ваше снисходительное сочувствие или ваше неблагоприятное восхищение (не знаю уж, как назвать его) следует за ним в его преступных победах, рукоплещет его успехам, поощряет его дурные стороны...

Но если этот человек так велик, если в нем столько энергии, так почему же он не воспользуется ею, чтобы победить свои столь пагубные стремления? Почему он употребляет свою силу во зло? Пираты и бандиты, выходит, тоже великие люди? Значит, человек, прославившийся дерзкими преступлениями или из ряда вон выходящими пороками, заслуживает того, чтобы взволнованная толпа почтительно склонила перед ним головы? Значит, для того, чтобы понравиться вам, надо быть героем или чудовищем?.. Может быть. Когда я думаю о полной и бурной жизни, которую, должно быть, вы прожили, когда я вижу, сколько иллюзий для вас погибло, когда я в мыслях ваших нахожу изнеможение и усталость, я говорю себе, что безвестная и тусклая жизнь вроде моей окажется для вас лишь тягостным бременем, что только необычные и сильные впечатления могут пробудить сочувствие в вашей истерзанной душе.

Так скажите же мне хоть слово, чтобы ободрить меня, Лелия! Скажите мне, кем вы хотите, чтобы я был, и я буду им. Вы считаете, что любовь женщины не может дать человеку столько сил, сколько любовь к золоту... Продолжайте, продолжайте его историю, она неизменно меня волнует – ведь в конце концов это же история вашей души, этой глубокой, переменчивой, неуловимой души, которую я все время ищу и которую мне так никогда и не удастся постичь».

Глава X

«Без сомнения, юноша, вы намного выше нас – да успокоится ваша гордость. Но через десять лет, даже через пять сравнитесь ли вы с Тренмором, с Лелией? Кто знает!

Таким, какой вы теперь, я люблю вас, юный поэт! Пусть это слово не пугает и не пьянит вас. Я не берусь разрешить сейчас вопрос, который вас так волнует. Я люблю вас за вашу чистоту, за ваше неведение того, что знаю я, за ту большую духовную молодость, с которой вы так опрометчиво спешите расстаться! У меня к вам иное чувство, чем к Тренмору: несмотря на его буйные страсти, несмотря на его высокую натуру, общение с ним не столь соблазнительно для меня, как общение с вами, и я вам сейчас объясню, почему иногда я жертвую собой и покидаю вас ради него.

Но прежде чем продолжать мой рассказ, я отвечу на один из ваших вопросов.

„Почему, – спрашиваете вы, – этот человек, обладая такой сильной волей, не употребил ее на то, чтобы обуздать себя?“

Почему?.. Счастливец Стенио! Но как вы представляете себе природу человека? На что, по-вашему, он способен? И чего вы ждете от себя самого?

Стенио, ты очень неблагоприятен, если хочешь окунуться в нашу пучину! Вот что ты вынуждаешь меня сказать тебе!

Видишь ли, люди, которые подавляют свои страсти ради других, до того редки, что я, например, не встречала еще ни одного такого. Я видела героев гордости, любви, эгоизма и больше всего – тщеславия! Но что касается человеколюбия?.. Многие хвалились им, но они бесстыдно лгали, лицемерили! Взгляд мой с грустью заглядывал в глубину их души и находил в ней только тщеславие. После любви тщеславие – это самая прекрасная из страстей человека, и знай, бедное дитя, оно пока еще встречается очень редко. Алчность, грубая гордость, порождаемая различием общественных положений, разврат, все дурные склонности, даже лень, которая тоже не что иное, как страсть, хоть и бесплодная, но упорная, – вот побуждения, которые движут большинством людей.

Тщеславие значительно хотя бы по своим результатам. Оно заставляет нас быть добрыми, ибо добрыми нам хочется выглядеть, оно толкает нас на героизм, до того радостно нам бывает видеть, как нас превозносят, столько неодолимого и вкрадчивого соблазна таит в себе популярность! Тщеславие – это нечто такое, в чем люди никогда не хотят признаться. Другие страсти не способны обманывать. Тщеславие может скрыться под чужим именем, и глупцы его не распознают. Человеколюбие! О боже! Какая наивная ложь! Где он, тот человек, который предпочтет счастье других людей собственной славе?

А что лежит в основе христианства, создавшего все самое героическое на свете? Надежда получить награду, место на небесах. А те, которые создали этот великий кодекс, самый прекрасный, самый всеобъемлющий, самый поэтичный памятник человеческого духа, так хорошо знали сердце человека, и его тщеславные помыслы, и его мелочность, что в соответствии с этим учредили целую систему Божественных обещаний. Прочтите творения апостолов, вы увидите, что на небе тоже не все равны; там существует иерархия блаженных, привилегированные места, хорошо организованное воинство, свои военачальники и степени. До чего же ловко истолкованы слова Христа: «Первые да будут последними, а последние – первыми! Истинно говорю вам, тот, кто был меньше всех на земле, станет самым великим в Царствии Небесном».

Но для тех, кто углубляется в себя и со всей серьезностью ставит перед собою вопросы жизни, для тех, кто освобождается от золотых химер своей юности и вступает в полосу суровых разочарований зрелого возраста, для смиренных, для мрачных, для искушенных, слова Христа, должно быть, осуществляются в этой жизни. Поначалу возмнивший себя сильным,

человек, упав с высоты, признается себе в своем ничтожестве. Он ищет прибежища в жизни мысли; только терпением и трудом добывает он то, что по неведению своему и тщеславию еще в юные годы считал своим достоянием.

Если вы на рассвете выйдете в поле, вас прежде всего поразят цветы, раскрывающие чашечки свои первым лучам. Из самых красивых вы выбираете те, которые уцелели после грозы, которых не успел подточить червяк, и далеко отбрасываете от себя розу, которую накануне испортил паук, чтобы вобрать в себя запах другой, распустившейся на заре во всей своей первозданной благоухающей красоте. Но нельзя ведь жить одним только созерцанием, одними ароматами. Солнце всходит на небо. Наступает день, вы ушли далеко от города. Вас мучат голод и жажда. Тогда вы ищете самые сочные плоды и, забывая уже увядшие и ни на что вам теперь не нужные цветы на первой же лужайке, срываете с дерева подрумяненный солнцем персик, гранат с толстой, потрескавшейся от морозов коркой, винную ягоду с шелковистой кожурой, разодранной благодатным дождем. И нередко случается, что плод, изъезженный червяком или поклеванный птицей, и есть самый сочный, самый вкусный. Не успевший затвердеть миндаль, горькая еще маслина, зеленая земляника не привлекут вас.

На утре моей жизни я предпочла бы вас всему на свете. Тогда все было мечтою, символом, восторгом, поэтическим порывом. Годы солнца и лихорадки прошли над моей головой, и мне надобна здоровая пища; скорби моей, усталости, разочарованию нужны не красоты, а сила, которая могла бы меня поддержать, не грациозная прелесть, а благо, которым дарит мудрость. В прежние времена любовь могла заполнить всю мою душу. Теперь мне нужнее всего дружба, дружба целомудренная и священная, дружба твердая и непоколебимая.

Первые да будут последними! В жизни Тренмора настал день, когда, низвергнутый с вершин светского благополучия в бездну страдания и позора, он только старался стать тем, кем уже считал себя и кем на самом деле никогда не был.

В течение нескольких лет, начав катиться под откос, не будучи в состоянии привязаться ни к убеждениям, ни к стихам, он чувствовал, что светильник разума в нем угасает. Нашлась женщина, которая на миг влила в него смутное желание вырваться из разврата и поискать свое предназначение в другом. Но эта женщина, хоть она и угадывала, сколько ума и необузданной силы погрязло в трясине порока, с ужасом и отвращением от него отвернулась. Правда, у нее остались к нему жалость и участие, проявившиеся уже позднее и которых он оказался достоин. Имеет же ведь право на человеческое участие истерзанное существо, которое примирилось с Богом.

У Тренмора была любовница, красивая и бесстыдная, как менада. Ее звали Мантована. Он предпочитал ее остальным, и порою ему казалось, что он видит в ней искорку священного огня: не зная в точности, что это такое, он называл огонь этот искренностью и искал его повсюду с тоской и отчаянием неудачника. Однажды, во время ночной оргии, он ударил эту женщину, и она выхватила из-за корсажа кинжал, чтобы его убить.

Эта вспыхнувшая вдруг ярость мщения понравилась Тренмору: в охватившем Мантовану порыве гнева он почувствовал и силу и страсть. На миг он ее полюбил. И тогда случилось нечто необычайное. В этот миг, сквозь весь его пьяный угар, в нем пробудились чувства, к которым стремится каждая возвышенная душа. Явившийся вновь мир промелькнул перед ним как видение во хмелю. Но одного непристойного слова вакханки было достаточно, чтобы весь этот сказочный замок рухнул и на дне бокала снова появился горький осадок. Тренмор сорвал с шеи своей любовницы жемчужное ожерелье и растоптал его. Она разрыдалась. Безумная горечь овладела тогда Тренмором: как, у нее только что хватило сил мстить ему за обиду, а тут вдруг она проливает слезы из-за какого-то ожерелья! Нервы его напряглись; он схватил тяжелый хрустальный графин с гранями острыми, как лезвие ножа, и ударил. Женщина вскрикнула и упала к ногам Тренмора. Он не обратил на это никакого внимания. Положив локти на стол, он уставился угрюмым взглядом на догорающие свечи и только

с презрительной улыбкой покачал головой, оставшись совершенно глухим к крикам своих товарищей и к волнению перепуганных слуг. Через час он пришел в себя, огляделся вокруг и увидел, что он один; у ног его была лужа крови. Он поднялся и тут же упал в эту лужу. Мантовану уже унесли. Потерявшего сознание Тренмора из дворца препроводили прямо в тюрьму. Ему сообщили, какие ужасные последствия имел его гнев. Он как будто слушал, улыбался, но был глубоко ко всему безучастен. Это тупое равнодушие всех поразило. Его стали допрашивать. Он рассказал всю правду.

– Вы хотели убить эту женщину? – спросил судья.

– Да, хотел, – ответил он.

– Где ваш защитник?

– У меня его нет, и я не хочу никакого защитника.

Ему зачитали приговор; он выслушал его с безразличным видом. Его заковали в железо позора – он почти не обратил на это внимания. Потом, когда, внезапно подняв голову и сделав несколько шагов, он увидел, что прикован к страшным людям, участь которых он теперь разделял, он окинул любопытным взглядом свидетелей своего унижения. Тут он увидел женщину, которая не отошла от него, когда он задел ее своим арестантским халатом.

– Вы здесь, Лелия, – вскричал он, – а Мантованы больше нет! Сколько времени я кормил и ласкал эту мерзкую тварь, а она осудила меня на бесчестие за минутную вспышку гнева. А теперь, когда я прощаюсь навеки с человеческой жизнью, у нее не нашлось для меня даже взгляда, в котором было бы сочувствие или сострадание! Она, конечно, хочет скрыть угрызения совести...

– Мантована умерла, – ответила я, – и это вы ее убили. Покайтесь и понесите наказание.

– Ах, так это я поскользнулся в ее крови! – воскликнул он. И, растерянно поглядев на свои ноги и увидав, что на них железные кандалы, он улыбнулся. – Понимаю, – сказал он, – это тоже кровь Мантованы!

Он упал, точно сраженный молнией. Его посадили в повозку, и я потеряла его из виду.

Пять лет спустя у берега моря, на горной тропинке, я повстречала бледного мужчину; он шел медленно и словно задумавшись, подняв голову к небу. Я не узнала его, до того изменилось выражение его лица. Он подошел и заговорил со мной. Голос его тоже изменился. Он назвал себя, я протянула ему руку, и мы сели на одной из прибрежных скал. Он долго говорил со мной, и, когда мы расставались, я поклялась в вечном сострадании, как потом поклялась в вечном уважении к несчастному, которого теперь зовут Тренмор и который в течение пяти лет...»

Глава XI

«Действительно, это страшная тайна, и я испытываю сердечную признательность к человеку, не побоявшемуся мне ее доверить. Значит, вы высокого мнения обо мне, Лелия, а он – о вас, если эта тайна могла так быстро дойти до меня! Что же! Теперь мы все трое связаны священными узами; я все же боюсь этих уз – этого я от вас не скрываю, – но порвать их я больше не вправе.

Хоть вы и рассказали мне все с большими предосторожностями, Лелия, я все равно потрясен. Стоило мне вспомнить, что за час до того, как я прочел эти строки, я видел, как человек этот пожимал вашу руку, которой я ни разу не осмеливался коснуться и которую вы, насколько я знаю, ни разу не протягивали никому другому, я почувствовал, что сердце мое холодеет. Как, вы в союзе с этим истрепавшимся человеком! Мне на минуту представилось, что вы, ангельское создание, которому я поклонялся, становясь на колени, вы, сестра светлых звезд, сделали сестрою этого... Я не могу написать кого...

А теперь, оказывается, вы не только сестра! Сестра, простив его, только исполнила бы свой долг. Вы сделали добровольно его подругой, его утешительницей, его ангелом-хранителем. Вы подошли к нему и сказали: „Приди ко мне ты, которого проклинали, я верну тебе потерянный рай! Приди ко мне, непорочной, и я прикрою грязь твою вот этой рукой!“ Сколько в вас величия, Лелия! Еще больше, чем я мог думать! Не знаю почему, поступок ваш причиняет мне боль, но я восхищаюсь им, я преклоняюсь перед вами. Для меня непремено только, что этот человек, внушающий мне ненависть и вместе с тем жалость, осмелился коснуться руки, которую вы ему протянули, что он с гордостью принял вашу дружбу – вашу священную дружбу, которой смиренно стали бы добиваться величайшие люди земли, если бы только они знали, как она много значит. Тренмор получил ее, Тренмор владеет ею, и Тренмор не говорит с вами, опустив глаза. Тренмор стоит с вами рядом и вместе с вами проходит сквозь изумленную толпу, он, который пять лет влачил за собой привязанное к ноге ядро бок о бок с вором или отцеубийцей... О, я его ненавижу! Но презрения у меня к нему уже нет, не браните меня.

А вас, Лелия, я жалею, жалею я и себя, ставшего вашим учеником и вашим рабом. Вы слишком хорошо знаете жизнь, чтобы быть счастливой; я все еще надеюсь, что это несчастье ожесточило вас, что вы преувеличиваете, я все еще отвергаю удручающий вывод, которым вы заканчиваете ваше письмо: „Лучшие из людей – в то же время и самые тщеславные, а героизм – химера!“

Ты так думаешь, бедная Лелия! Бедная женщина! Ты несчастна, я люблю тебя!»

Глава XII

«У Тренмора было только одно средство заслужить мою дружбу – это принять ее. Так он и сделал. Он не побоялся довериться моим обещаниям, он не думал, что на такое великодушие у меня не хватит сил. Вместо того чтобы быть со мною смиренным и робким, он спокоен, он полагается на мою деликатность, он отнюдь не настороже со мной, ему и в голову не приходит, что я могу унижить его и дать ему почувствовать, сколь тягостно мое покровительство. У этого человека действительно благородная и величественная душа, и дружба его мне льстит, как ничья другая.

Вы уже не презираете его характер, вы презираете его положение, не так ли? Юный гордец! Как еще вас назвать! Неужели вы дерзнете ставить себя выше этого человека, сраженного молнией? Оттого, что он стал жертвой судьбы, оттого, что он родился под зловещей звездой, ему суждено было наткнуться на подводные камни, а вы корите его этим падением, отворачиваетесь, завидев, как, изможденный и окровавленный, он выходит из бездны. Ах да, вы ведь человек светский! Вы разделяете все жестокие предрассудки света, его мстительный эгоизм! Пока грешник еще стоит на ногах, вы способны терпеть его, но едва только он упал, как вы пинаете его ногами, поднимаете с дороги камни и комки грязи, чтобы поступить как толпа, чтобы, увидев, как вы жестоки, другие палачи поверили в вашу правоту. Вам страшно было бы выказать к нему малейшую жалость, ибо ее можно дурно истолковать и решить, что вы брат или друг жертвы. А если бы люди сочли, что вы сами способны на подобное же злодеяние, если бы можно было сказать о вас: „Взгляните на этого человека; он протягивает руку изгнаннику; верно, он и сам так же низок, такой же преступник, как тот! Давайте лучше закидаем изгнанника камнями, будем пихать его ногами в лицо, добьем его! Будем заодно с поносящей его толпой”.

Когда в отвратительной повозке осужденного везут на эшафот, вокруг собирается толпа, она осыпает оскорблениями этот огарок, который вот-вот догорит. Поступите, как эта толпа, Стенио! Что стали бы говорить о вас в этом городе, где вы чужеземец, как и мы, если бы вдруг увидели, что вы ему подали руку! Подумали бы, пожалуй, что вы были с ним вместе на каторге! Вот что, юноша, чем навлекать на себя подобные толки, лучше бегите прочь от того, над кем тяготеет проклятие! Дружба с ним опасна. Безграничную радость облегчить страдания несчастного приходится покупать дорогою ценою – яростной злобой толпы. Таковы ли ваши помыслы? Таковы ли ваши чувства, Стенио?

Не вы это разве плакали каждый раз, когда читали в истории Англии про молодую девушку, которая, видя, как одного знаменитого человека ведут на эшафот, пробилась сквозь толпу равнодушных зевак и в порыве детского простодушия, не зная, чем выразить свои чувства, протянула ему розу, чистую и нежную, как она сама, розу, которую ей, может быть, подарил ее возлюбленный, – единственное и последнее свидетельство сочувствия и жалости, выпавшие на долю монарха, которого вели на казнь. А разве вас не тронул в восхитительной истории прокаженного из Аосты⁴ простой и естественный поступок рассказчика, подавшего ему руку? Несчастный прокаженный! Сколько лет рука его не касалась руки себе подобного! Как трудно было отказаться от этого дружеского рукопожатия, и он все же заставил себя отказаться от него, боясь заразить своего нового друга!..

Зачем же было Тренмору отталкивать мою руку? Разве несчастье столь же заразительно, как проказа? Ну что ж! Пусть нас обоих хулит толпа, и пусть сам Тренмор за это меня не поблагодарит! На моей стороне будет Бог и сердце мое, а разве это не больше, чем ува-

⁴ ...истории прокаженного из Аосты. – Имеется в виду повесть французского писателя Ксавье де Местра (1763–1852) «Прокаженный из города Аосты».

жение толпы и признательность человека! О, дать жаждущему стакан воды, приобщиться к несущим крест, спрятать чье-то красное от стыда лицо, кинуть травинку несчастному муравью, которому не выбраться из потока, – все это совершенно ничтожные благодеяния! И однако, общественное мнение запрещает нам совершать их или оспаривает их у нас! Горе нам! Нет ни одного доброго порыва, который не приходилось бы подавлять в себе или прятать. Детей человеческих учат быть тщеславными и безжалостными – и это еще называют *честью*! Проклятие нам всем!

А что, если я вам скажу, что отнюдь не считаю поступок свой актом милосердия, что этот человек, пробывший пять лет на каторге, вызывает во мне чувство благоговейного уважения? А что, если я скажу вам, что такой, как сейчас, разбитый, опустошенный, погибший, он в моих глазах в духовном отношении выше любого из нас? Знаете вы, как он перенес свое горе? Вы бы, верно, покончили с собой; ну конечно же, с вашей гордостью вы не смогли бы выдержать такого позора. А он! Он покорился, он решил, что наказание справедливо, что он заслужил его не столько самим преступлением своим, сколько тем злом, которое он безнаказанно творил в течение нескольких лет. А коль скоро он считал, что кара эта заслуженна, он и хотел ее. И он ее перенес. Он прожил пять лет среди этих страшных людей, сильный и терпеливый. Он спал на камне бок о бок с убийцей, он сносил взгляды любопытных; пять лет прожил он в грязи, среди этого стада диких зверей: он сносил презрение последних негодяев и власть самых подлых шпионов. Он был каторжником, этот человек, некогда такой богатый, такой изнеженный, приверженный утонченным привычкам и деспотическим прихотям! Он, который любил кататься в своей быстрой гондоле, окруженный женщинами, овеянный ароматом духов, под звуки песен! Он, который на скачках доводил до изнеможения самых чистокровных арабских лошадей! Человек этот, вкушавший отдых под небом Греции, как Байрон, изведавший роскошь во всех ее самых разнообразных видах, стал другим, помолодел, преобразился на каторге, где до еще большей степени нравственного падения доходят и торговавший дочерью отец, и изнасиловавший, а потом отравивший родную мать сын, откуда люди обычно возвращаются покалеченными и превратившимися в зверей. Тренмор вышел оттуда прямой, спокойный, как видите, бледный, но еще прекрасный, как творение Господа, как отблеск, который божество бросает на чело человека просветленного».

Глава XIII

В этот вечер озеро было спокойно, как обычно в последние дни осени, когда зимний ветер не решается еще смущать его безмолвные воды и розовые заросли шпажника на берегу дремлют, убаюканные тихою зыбью. Светлая дымка незаметно заволакивала угловатые контуры горы и, спускаясь на воду, словно отделяла линию горизонта, которая в конце концов исчезла совсем. Тогда поверхность озера расширилась так, что оно стало походить на море. В долине уже нельзя было различить ничего примечательного, ничего, что могло бы порадовать глаз. Внешний мир никак не заявлял о своем присутствии, не старался ничем развлечь. Раздумье само стало торжественным, глубоким, смутным, как затянутое дымкой озеро, широким, как бескрайнее небо. Во всей природе остались только небесная твердь и человек, душа и сомнение.

Тренмор плыл в лодке; он стоял у руля, и его закутанная в темный плащ фигура отчетливо выделялась на фоне ночной синевы. Он высоко поднял голову, мысли его устремились к небу, с которым он столько времени враждовал.

— Стенио, — сказал он молодому поэту, — не мог бы ты грести помедленнее, чтобы дать нам полнее ощутить свежесть волн, их гармонический плеск? Греби ровно, поэт, греби ровно! Это так же важно, так же прекрасно, как ритм самых лучших стихов. Теперь хорошо! Слышите жалобные стоны волн, которые бьются о берег? Слышите, как нежно падают капли одна за другой, замирая позади нас, будто звуки песни, которые удаляются все дальше и дальше?

Я подолгу сидел так, — прибавил Тренмор, — на тихом берегу Средиземного моря, под его синим небом. С наслаждением слушал я, как плескались под нами волны, как они бились о наши стены. По ночам, среди ужасающей тишины бессонниц, наступающих вслед за шумом работы и проклятием поистине адских страданий, слабые и таинственные звуки волн, бившихся у подножия моей тюрьмы, неизменно меня успокаивали. И впоследствии, когда я почувствовал, что силы мои сравнялись с судьбой, когда моя укрепившаяся душа могла уже обойтись без помощи извне, этот сладостный шум воды баюкал мои мечты и приводил меня в блаженный восторг.

В эту минуту серая чайка пронеслась над озером; скрытая в дымке, она задела влажные волосы Тренмора.

— Еще один друг, — сказал бывший каторжник, — еще одно сладостное воспоминание! Когда я отдыхал на песке, неподвижный, как каменные плиты порта, эти воздушные странницы, принимая меня за холодную статую, подлетали ко мне совсем близко и без страха на меня глядели. Это были единственные существа, у которых не было ко мне ни отвращения, ни презрения. Они не понимали моей тяжелой доли. Они не корили меня ею, и стоило мне пошевелинуться, как они улетали прочь. Они не видели, что ноги мои закованы в цепь, что следовать за ними я все равно не могу; они не знали, что я в неволе; они спешили улететь прочь от меня, как от любого другого человека.

— Ответь мне, — попросил поэт, — откуда твоя закаленная душа набралась сил, как она смогла вынести первые дни этой жизни?

— Этого я тебе не скажу, Стенио, теперь я и сам уж не знаю. Эти дни я вообще не ощущал себя, я не жил, я ничего не понимал. Но когда я наконец понял, как все ужасно, я почувствовал в себе силу все перенести. Если я чего-то смутно боялся, так это жизни ничем не занятой и однообразной. Когда я увидел, что мне предстоит работа, усталость, которая валит с ног, горячие дни и ледяные ночи, удары, оскорбления, стоны, беспредельное море перед глазами, под ногами — камни, неподвижные, как могильные плиты, ужасающие рассказы и ужасающие страдания, я понял, что могу жить, ибо могу страдать и бороться.

– Потому что твоей великой душе, – сказала Лелия, – необходимы сильные потрясения и жгучие возбудители. Но скажи нам, Тренмор, как тебе удалось обрести покой, – ты ведь только что сказал, что покой пришел к тебе на самом дне пропасти; к тому же все ощущения притупляются, оттого что им приходится повторяться.

– Покой! – сказал Тренмор, подняв к небу проникновенный взгляд. – Покой – это величайшее благодеяние Создателя, это – будущее, к которому неустанно стремится бессмертная душа, это блаженство; покой – это сам Господь Бог. Так знай же, покой я нашел в аду. Не будь этого ада, я никогда бы не понял тайны человеческого предназначения, никогда бы не ощутил ее на себе – я ведь ни во что не верил, ни к чему не стремился: усталый от жизни, исход которой я тщетно пытался найти, мучимый свободой, которую мне некуда было девать, – ведь у меня не было даже нескольких минут, чтобы помечтать о ней, – так я подгонял бег времени, стараясь сократить надоевшую мне жизнь! Мне необходимо было на какое-то время избавиться от моей собственной воли и подчиниться воле чужой, грубой и злобной: она-то и научила меня ценить свою. Эта неумная энергия, которая цеплялась за опасности и трудности жизни в обществе, насытилась наконец, когда ей пришлось бороться с тяготами другой жизни – той, что должна была искупить вину. Могу сказать, что в этой борьбе она победила; но вслед за победой пришло удовлетворение, пришла спасительная усталость. Впервые я наслаждался сном. И наслаждение это там, на каторге, было еще благотворнее, еще слаще оттого, что, когда я жил среди роскоши, оно доставалось мне лишь изредка и обманывало меня. На каторге я понял, что такое уважение к себе, ибо, нимало не униженный присутствием всех этих отверженных людей и сравнивая их трусливую заносчивость и мрачную ярость с тем просветленным спокойствием, которое было во мне, я вырос в собственных глазах и стал даже верить, что между человеком храбрым и небом может существовать некая отдаленная слабая связь. В дни моей лихорадочной, дерзкой жизни мне никогда не удавалось прийти к этой надежде. Покой породил во мне эту живительную мысль, и понемногу она пустила во мне корни. В конце концов я достиг того, что направил душу мою к Богу и мог довериться Ему и Его молить. О! Какие потоки радости заструились в этой несчастной, опустошенной душе! Каким смиренным, каким кротким и милосердным должен был стать Господь, чтобы снизойти до меня в слабости моей, чтобы я мог узреть Его. Только тогда я понял таинственный смысл слова Божьего, воплощенного в человеке, дабы увещевать и утешать людей, понял смысл всех этих христианских легенд, таких поэтичных и таких нежных, эти связи между землею и небом, это животворное влияние духа, открывающего наконец человеку несчастному путь надежды и утешения! О Лелия! О Стенио! Вы ведь тоже верите в Бога, не так ли?

Оба молчали. Лелия, по-видимому, была настроена еще более скептически, чем обычно. Стенио не мог побороть отвращение, которое вызывал в нем Тренмор: душа его не решалась открыться душе каторжника. Однако он сделал над собой усилие – не для того, чтобы ответить, а чтобы еще о чем-то спросить.

– Тренмор, – сказал он, – ты не говоришь о себе то, что мне так важно знать. В словах твоих, как мне кажется, больше поэзии, чем правды. Ведь прежде чем ты вкусил покой и пришел к вере, ты должен был великим раскаянием очистить разум свой и искупить душу?

– Да, великим раскаянием! – ответил Тренмор. – Но раскаяние это было глубокое и искреннее, освобожденное от страха перед людьми. В этой бездне унижения я не поддался слабости считать, что унизили меня люди, и посланное мне наказание принял не от них, а от одного Господа.

В первые дни я обвинял во всем судьбу, единственное божество, в которое верил. Потом я стал находить удовольствие в борьбе с этой необузданной силой, которой я, однако, не мог отказать в высокой справедливости и в осуществлении замысла Провидения, ибо за этим грубым символом я видел истинного Бога, видел Его, сам того не зная и как бы помимо

воли, так, как видел всегда. Что меня больше всего поражало в истории, так это великие богатства Креза и Сарданапала и постигшие их великие удары судьбы. Мне нравилась угрюмая мудрость этих людей, которые стоически выдерживали все унижения, доставшиеся им от себе подобных, и в то же время бросали неблагодарным богам такие жестокие упреки. Но разве само их кощунство не таило в себе великой веры?

Мало-помалу вера эта прояснялась моему взору; но, должен признаться, что, несмотря на мое презрение к роли человека в моей судьбе, я был вынужден начать снизу, чтобы возвыситься до идеи Божественной справедливости. И вот, вникая в мои преступления и в то наказание, которому подвергли меня такие же люди, пораженный их варварством и их несправедливостью, я снискал себе приют на лоне Божественного милосердия.

– Неужели вы осмелитесь утверждать, – сказал Стенио, едва сдерживая охватившее его возмущение, – что вы не заслужили наказания?

– Нет, конечно, я заслужил какое-то наказание, – невозмутимо ответил Тренмор, – мой жизненный опыт подтвердил, что мне нужен был страшный урок. Но какое это было унижительное и ужасное наказание! Неужели же общество ставит себе целью мстить? Мне кажется, что сущность наказания в том, чтобы искупить содеянное преступление и сделать преступника другим человеком.

– Ну, разумеется, – в волнении воскликнул Стенио, – преступление ваше не заслуживало такой суровой кары. Вы ведь убили не преднамеренно, а вас смешали с ворами и убийцами.

– Я действительно не заслуживал столь сурового наказания, – сказал Тренмор, – но тем не менее наказать меня следовало, и наказать строго. Преступление мое отнюдь не в том, что я убил человека. Я совершил это убийство оттого, что был пьян. И дело не только в том, что я пьянствовал в эту роковую ночь – это была привычка к вину, к оргиям, вся моя невоздержанная, развратная жизнь. И наказать меня следовало не за распутство одного только дня, а за всю эту непотребную жизнь, которую надлежало пресечь. Вот что я понял, когда сравнивал свое положение с положением злодеев, к которым меня бросили, как в древности бросали гладиатора к диким зверям. Я спрашивал себя, для чего меня приобщили к страшному сонмищу нечестивцев: для того ли, чтобы я исправился, глядя на весь этот ужас, или для того, чтобы наказать меня за мои проступки смертельной заразой – невозвратимой потерей всякого проблеска Божественного начала и всех человеческих чувств. Признайтесь, что это престранный способ наказания, до которого додумалось общество! Негодование мое было так велико, что некоторое время, подпав под власть самых страшных мыслей, я колебался, не принять ли мне ту судьбу, которую для меня уготовили, не сделать ли себя врагом рода человеческого, не дать ли клятву обратить всю ярость мою против него и объявить ему войну с того дня, как я выйду на свободу; освободись я в пору этого дикого отчаяния, не было бы разбойника страшнее меня, никакой убийца не купался бы в крови так иступленно, как я!

Но как ни велика была моя ненависть, мне приходилось запастись терпением, и я долго вынашивал планы мести, которые религиозное чувство потом во мне погасило. Разве у меня не было причин ненавидеть это общество: оно ведь завладело мною с колыбели и с той поры так слепо расточало мне свои благодеяния, что даже в какой-то мере способствовало тому, что во мне вспыхнули неугасимые страсти и потребности? Ему потом нравилось удовлетворять их и беспрерывно возбуждать вновь. Зачем оно создает богатых и бедных? И если оно разрешает иным наследовать богатства, почему оно не указывает им, как достойным образом его употребить? Где та сила, которая должна направить нас в молодые годы? Где те обязанности, которым нас должны учить, которые нам должны предписывать, когда мы мужаем? Где те грани, которые оно ставит нашей распущенности? Какую помощь оказывает оно мужчинам, которых мы развращаем своими подачками, и женщинам, которых мы губим

своими пороками? Откуда в этом обществе такое множество лакеев и проституток? Почему оно терпит наши оргии и почему оно раскрывает нам само двери непотребства?

И почему же мне пришлось испытать на себе суровый закон, который так редко применяется к богачам? Да потому, что мне не пришло в голову заранее купить себе отпущение всех грехов. Если бы я поместил свое золото, свою репутацию и свою жизнь под охрану какого-нибудь принца, такого же развратного, как я, если бы низкими политическими интригами сумел сделать себя полезным коварным замыслам какого-нибудь правительства, у меня были бы всемогущие друзья, чье бесстыдное покровительство спасло бы меня, как и стольких других, от огласки позорного приговора и от ужаса безжалостной кары. Но хоть я и сумел найти множество способов разориться, мне было не по душе разоряться в обществе сильных мира сего. Я презирал их еще больше, чем себя: я к ним не обратился в беде. Они мне отомстили, бросив меня на произвол судьбы.

Это была первая воодушевившая меня мысль: она немного возвысила меня в собственных глазах.

Затем, когда я окинул взором всех этих несчастных, меня охватил не только ужас, но прежде всего огромная жалость. Ибо хоть между их преступлениями и моим была целая пропасть, они, как и я, терпели наказание непомерное и несправедливое. Они тоже были обречены на еще большее моральное падение; им тоже предстояло потерять всякое желание и всякую надежду восстановить свое доброе имя. А ведь и у них было право на целительную кару, которая не только бы не сломила им душу, а, напротив, укрепила бы ее разумными наставлениями, благородными примерами, обещала бы ей милосердие. Ибо отнюдь не насилие и не ярмо, еще более тяжкое, чем содеянные ими преступления, могли заставить их смиренно склониться и искупить свой грех. Чем ниже было их падение, тем решительнее надо было стараться поднять их. Чем более бесчувственными и дикими создала их природа, тем ответственнее был долг, возложенный на общество Богом, воспитать их и наставить на путь истины. Да, им, так же как и мне, наказание было нужно. Оно должно было быть достаточно длительным, достаточно суровым, но таким, какое отец налагает на провинившегося ребенка, — в нем не должно было быть той жестокости, с какою палач вливается в свою жертву. О человечество! Разве Христос не говорил тебе о милосердии небес? Разве Он не учил тебя призывать высшего судию, называя его Отцом? Но ты ведь Его не послушало, ты распяло праведника. Какого же милосердия может ждать от тебя преступник?

Чем больше я наблюдал распущенность и нравственное уродство этих несчастных, тем больше я обвинял общество, которое наказывает безвестные преступления и покровительствует стольким другим, которые творятся у всех на виду.

Оно умеет мстить только отдельным личностям. Оно не способно распространить свою месть на целые сословия и защититься от них. Богатые правят с помощью низости и обмана. Бедным приходится расплачиваться вдвойне — за свои собственные грехи и за чужие, за те, которые знать выставляет им напоказ, возлагая нечистые жертвы на роскошные алтари. Подумав об этих примерах, которые я привел сам (как-никак один из наименее преступных среди счастливых нашего времени), я перестал гордиться собой и ставить себя выше моих товарищей по несчастью; смирившись перед Господом, я принял из Его рук то унижение, в котором был вынужден жить среди них.

Эти глубоко прочувствованные мысли толкнули меня на путь стоицизма, и я без единой жалобы перенес мое горе. Но стоицизм этот не был холодной мудростью человека, умеющего обрести покой, день ото дня подавляя свои страдания. Душа моя была надорвана жалостью, сердце мое обливалось кровью при виде всех этих ран, всех язв, которые окружали меня, и если я и нашел успокоение, то только тогда, когда уверовал в высшую доброту и справедливость всепрощения. Всеми фибрами своего существа я чувствовал, что эти погибшие для общества люди не погибли для неба, ведь вера в вечные муки — это выдумка, достой-

ная людей бессердечных и не знающих, что такое прощение. Могущество Господа они измеряли по своей мерке. Они возомнили, что Он употребит свою власть на то, чтобы держать в преисподней мириады погибших душ. Они забыли, что Он властен дать этим душам новые жизни и очистить их множеством испытаний, которых люди не в силах предвидеть.

– Все это хорошие слова, – сказал Стенио, обернувшись к Лелии, внимательно следившей за впечатлением, которое речи Тренмора произвели на молодого поэта. – Но только, – добавил он тихо, – можно ли одними хорошими мыслями и хорошими словами смыть кровь и позор?

– Ну конечно, нет, – громко ответила Лелия. – Нужны еще хорошие поступки, а у него они были. Переноса мучения, он стал жить жизнью героической, самозабвенной и милосердной и будет жить так всегда. Он начал с того, что стал утешать и обращать на путь истинный наименее очерстневших из тех несчастных, которых суд людей сделал его братьями. И даже там, на каторге, он добился успеха. Он, во всяком случае, мог говорить себе в утешение, что вместе со слезами вливает каплю бальзама небесного в наполненные вечной горечью чаши их жизней. Он нашел слова сочувствия и облегчения для людей, которые всю жизнь были к ним глухи, которые их никогда не слышали и никогда больше не услышат, но которых они никогда не забудут. После того как он уже десять лет на свободе, после того как и вид его, и все привычки до такой степени переменились, что никто его не может узнать, после того как в силу странных и романтических обстоятельств он стал владеть состоянием большим, чем то, которое он потерял, жизнь его, суровая для него и щедрая для других, сделалась примером самого высокого самоотвержения. Одно слово раскроет тебе, что это за человек, которого ты по тщеславию своему все еще боишься; одно слово...

– Подождите! – воскликнул Тренмор. – Если моя новая жизнь может иметь какое-то значение в его глазах, когда он ее узнает, не лишайте его высокого мужества поверить в меня без доказательств и без гарантий. Это не может совершиться за час. Я спокойно могу вынести его недоверие и презрение еще несколько дней!

– Мое недоверие – может быть! – вскричал Стенио. – Признаюсь, что добродетель, полученная таким исключительным путем, как ваша, удивляет меня и пугает, ибо мне знакомы только обсаженные цветами дорожки, по которым люди бегут к надежде. Только знайте, несчастный человек, презрения моего вам бояться нечего...

– Ваше презрение не может меня напугать, юноша! – оборвал его Тренмор, и в голосе его звучала торжественная гордость. – Я знаю, что презирать меня должен всякий, кто узнает, что я изгнан из общества. Знаю также, что любой человек, узнав мою тайну, вправе оскорбить меня и отказаться драться со мной на дуэли. Поэтому я должен был уважать и чтить себя вне зависимости от мнения людей. Это великое благо я заработал в поте лица – я смыл с себя грязь и кровь не кровью кого-нибудь другого, а своей самой чистой кровью. Поэтому ни один человек не властен меня унижить. Вы будете уважать меня, Стенио, когда сможете, но и тогда не заботьтесь о том, чтобы выказать мне это уважение. Оно не принесет мне добра, равно как и ваше презрение не может причинить мне зла. Давно уже в поступках своих я не руководствуюсь мнением людей. Тот, на Кого они рассчитаны, – добавил Тренмор, поглядев на небо, – выше, чем все вы.

В лице изгнанника, в его голосе, в манере себя держать сквозило столько благородства и столько энергии, что Стенио был потрясен. Он робко оглядел себя самого и мысленно попросил у Господа прощения за то, что оскорбил человека, снискавшего покровительство небес.

Тренмор погрузился в глубокую задумчивость; спутники его тоже замолчали. Красавица Лелия смотрела на борозду, которую лодка оставила на воде, – по ней золотыми ниточками извивались отблески трепещущих звезд. Стенио впился глазами в свою спутницу – во всей вселенной он видел только ее одну. Когда время от времени вздымались порывы ветра

и лица его касались черные волосы Лелии или хотя бы бахрома ее шарфа, он весь дрожал, как воды озера, как прибрежный тростник. Потом ветер замирал, словно последний вздох истерзанной страданием груди. Волосы Лелии и складки ее шарфа снова падали ей на грудь, и Стенио тщетно искал ответного взгляда в глазах ее, огонь которых так стремительно прорезал мрак, когда Лелия снисходила до того, чтобы стать женщиной. Но о чем же думала Лелия, глядя на борозду за кормой?.. Ветер развеял туман; Тренмор увидел вдруг впереди, в нескольких шагах от себя, прибрежные деревья, а на горизонте – красноватые огни города; он глубоко вздохнул.

– Как, уже? – сказал он. – Вы слишком быстро гребете, Стенио, вы очень торопитесь вернуть нас к людям.

Глава XIV

Несколько часов спустя они были на балу в доме богатого музыканта Спуэлы. Тренмор и Стенио вошли под своды круглой залы, где каждый звук отдавался трепетным эхом; взглядам их открылась целая анфилада других зал, полных движения и гула. Танцующие пары скользили затейливыми кругами при бледном свете свечей, цветы увядали в тяжелом воздухе, звуки оркестра замирали под мраморным сводом, и в горячем тумане бала двигались взад и вперед фигуры людей в праздничных нарядах, бледные и молчаливые. Но над всем этим пышным празднеством, над этими яркими красками, смягченными реющей в глубине дымкой и сгустившейся атмосферой, над диковинными масками, над сверкающими бриллиантами, над легкой кадрилию и группами молодых и веселых женщин, над движением и шумом — над всем возвышалась одинокая фигура Лелии. Стоя на ступеньках амфитеатра, опершись на бронзовую полуколонну, она смотрела на бал. На ней тоже был маскарадный костюм, но костюм этот был благороден и мрачен, как и она сама, строг и вместе с тем изыскан; лицо ее было бледно, серьезно, глубокие глаза напоминали юных поэтов былых времен, когда вся жизнь была пронизана поэзией и когда поэзия не спускалась в толпу. Откинутые назад черные волосы Лелии оставляли открытым ее лоб, на котором десница Всевышнего, казалось, запечатлела ее таинственную, несчастную судьбу; взгляд юного Стенио беспрерывно устремлялся к ней с тревожной настороженностью кормчего, который прислушивается к малейшему дуновению ветра и приглядывается к движению едва заметных облачков на совсем еще чистом небе.

Большие глаза Лелии, смотревшие из-под то и дело хмурившихся бровей, казались еще чернее, еще бархатистее, чем надетая на ней мантилья. Матовая бледность ее лица и шеи сливалась с широким белым воротником, а холодное дыхание ее словно застывшей груди, казалось, даже не шевелило ни черной атласной курточки, ни золотой цепочки, трижды обвивавшей ее шею.

— Взгляните на Лелию, — сказал Стенио восхищенно, — взгляните на этот высокий греческий стан, облаченный в одежды благочестивой и страстной Италии; на эту античную красоту, пропорции которой утратило нынешнее ваяние; на эту глубокую задумчивость, присущую философическим векам; на эти богатые формы и черты; на эту восхитительную стройность, воплощения которой, ныне утраченные, могли быть созданы только под гомеровским солнцем; взгляните, говорю вам, на эту физическую красоту: она одна могла бы быть всемогуща, а Господу было угодно вдохнуть в нее весь великий разум нашей эпохи!..

Можно ли представить себе что-либо более совершенное, чем Лелия в этом одеянии, в этой позе, погруженная в такое глубокое раздумье? Это безупречная мраморная Галатея с небесным взглядом Тассо⁵ и с горькой улыбкою Алигьери. Это непринужденная и рыцарственная поза юных героев Шекспира: это поэтический любовник Ромео, это бледный аскет, это духовидец Гамлет; это Джульетта, полумертвая Джульетта, которая прячет на груди своей яд и воспоминание о разбитой любви. Можно начертать самые великие имена истории, театра, поэзии на этом лице, которое как бы подводит итог всему, ибо вмещает в себе все. Молодой Рафаэль, должно быть, пребывал в таком восторге, когда Господь явил ему прелестные видения целомудренной красоты. Так сурово и сосредоточенно умирающая Коринна слушала свои последние стихи⁶, которые молодая девушка читала у стен Капитолия. Молчаливый и таинственный паж Лары замыкался так в уединении, презирая толпу.

⁵ Тассо Торквато (1544–1595) — поэт итальянского Возрождения, автор поэмы «Освобожденный Иерусалим».

⁶ ...умирающая Коринна слушала свои последние стихи... — Коринна — поэтесса, героиня одноименного романа французской писательницы Анны Луизы Жермены де Сталь (1766–1817), умирает в Италии, покинутая своим возлюбленным.

Да, Лелия сочетала в себе все эти идеальные качества, ибо в ней слились воедино гении всех поэтов, величие всех героев. Вы можете наречь Лелию всеми этими именами; самым великим, самым гармоничным из всех перед Богом будет все-таки имя Лелии! Лелии – чье светлое и ясное чело, чье большое и щедрое сердце вмещает в себе все великие мысли, все благородные чувства: религию, энтузиазм, стоицизм, жалость, упорство, страдание, милосердие, прощение, чистоту, смелость, презрение к жизни, ум, энергию, надежду, терпение, все, вплоть до невинных слабостей, до прелестного женского легкомыслия, до переменчивости и беззаботности, которые являются, может быть, ее самым приятным преимуществом и самой могучей притягательной силой.

Все, кроме любви, – мрачно добавил Стенио после минутного молчания. – Тренмор, вы, который знаете Лелию, скажите мне, знала ли она любовь? Что же, если нет, то Лелию нельзя назвать человеческим существом. Это только мечта, такая, какую может создать себе человек, красивая или возвышенная, но ей всегда не хватает чего-то, чему нет имени и что скрыто от нас облаком, что превыше небес, к чему мы неустанно стремимся и чего не можем ни достичь, ни когда-либо увидеть, нечто истинное, совершенное и неизменное; может быть, это и есть Бог, может быть, это зовется Богом! Но человеческому уму все это недоступно! Взамен Господь дал человеку любовь, слабое излучение небесного огня, душу вселенной, которую он способен ощутить, эту Божественную искру, этот отблеск Всевышнего, без которого самое прекрасное существо ничего не значит, без которого Христос только образ, лишенный жизни, – вот этой-то любви и нет в Лелии. Что же такое Лелия? Тень, мечта, самое большее – мысль. Там, где нет любви, нет и женщины.

– И вы думаете так же, – сказал Тренмор, не отвечая на то, что для Стенио было вопросом, – что там, где нет любви, нет и мужчины?

– Я верю в это всей душой! – воскликнул юноша.

– В таком случае я тоже мертв, – сказал Тренмор, улыбаясь, – ибо у меня нет любви к Лелии, а уж если Лелия не пробудила ее во мне, никакая другая женщина не сможет этого сделать. Мне только кажется, Стенио, что вы ошибаетесь и что с любовью происходит то же, что и с другими эгоистическими страстями. Я думаю, что там, где они кончаются, только и начинается человек.

В эту минуту Лелия спустилась со ступенек и подошла к ним. Величие, полное печали, окружавшее Лелию словно ореолом, почти всегда отчуждало ее от толпы. Женщина эта никогда не выказывала своих чувств на людях. Она замыкалась в себе, чтобы посмеяться над жизнью, но она шла по ней, исполненная ненависти и недоверия, и старалась казаться суровой, чтобы по возможности избавиться от всякого соприкосновения с обществом. Вместе с тем она любила празднества, шумные сборища. Для нее они были своего рода театром. Она приходила туда, чтобы предаваться раздумью, одинокая среди толпы. Толпа не сразу привыкла к тому, что она как бы парит над ней и все время старается почерпнуть новые впечатления, никогда не делясь своими. Между Лелией и толпой не было никакого общения. Если у Лелии и возникали некие тайные пристрастия, она не позволяла себе возбуждать их в других – ей это было не нужно. Толпа могла не понять этой странности, но она была зачарована и, стараясь, чтобы это неведомое ей существо, независимость которого ее оскорбляла, спускалось к ней, разверзлась перед этой удивительной женщиной с каким-то безотчетным почтением, к которому примешивался и страх.

Бедный молодой поэт, который любил ее, несколько лучше понимал причины ее власти над людьми, хотя и не решался еще себе в этом признаться. Временами он был так близок к печальной истине, которую искал и в то же время отталкивал от себя, что испытывал к Лелии нечто вроде ужаса. Ему казалось тогда, что Лелия – его бич, его злой гений, самый опасный для него на свете враг. Видя, как она теперь приближается к нему, одинокая и задумчивая, он почувствовал какую-то ненависть к этому существу, которое ничто как будто не связывало с

остальным миром. Этому безумцу не пришло даже в голову, что, если бы он видел, что она улыбается и говорит, страдания его были бы куда больше.

– Вы словно мертвец, приоткрывший свой гроб и явившийся сюда, чтобы разгуливать среди живых, – сказал он жестко и с горечью. – Смотрите, люди сторонятся вас, они боятся коснуться вашего савана, вам едва смеют взглянуть в лицо: зловещая тишина парит вокруг вас, как ночная птица. Рука ваша тоже холодна, как тот мрамор, которого вы только что касались.

Лелия ответила ему странным взглядом и холодной улыбкой; некоторое время она молчала.

– Мне только что приходили в голову другие мысли, – сказала она наконец. – Я принимала вас всех за мертвецов, а сама, живая, наблюдала за вами. Я говорила себе, что есть что-то необычайно мрачное во всех этих маскарадах. В самом деле, разве не печально воскрешать так канувшие в вечность эпохи и заставлять их развлекать наши дни? Все эти костюмы былых времен, являющие нам давно ушедшие поколения, здесь, в разгаре празднеств, какой это страшный пример, напоминающий нам о быстротечности человеческой жизни? Где они, горячие головы, кипевшие под этими беретами и тюрбанами? Где молодые и пламенные сердца, которые бились под этими атласными куртками, под этими корсажами, вышитыми золотом и жемчугом? Где все гордые красавицы, которые кутались в эти тяжелые ткани, которые украшали свои пышные волосы этими старинными диадемами? Увы! Где все эти калифы на час, которые блистали так же, как ныне мы? Они прошли по жизни, не думая ни о поколениях, которые проходили перед ними, ни о тех, которые за ними последуют, не думая о своей собственной жизни, украшая себя золотом, обливаясь духами, живя среди роскоши и звуков музыки, в ожидании могильного холода и забвения.

– Они отдыхают от жизни, – сказал Тренмор. – Счастливы те, которые покоятся в мире!

– Должно быть, ум человека очень уж ограничен, – ответила Лелия, – и удовольствия его очень пусты; должно быть, простые и легкие наслаждения быстро теряют для него свою прелесть, если среди радости и торжества он неизменно испытывает вновь и вновь это ужасающее чувство тоски и страха. Видите, человек богатый и веселый, один из счастливцев этой земли, чтобы одурманить себя и забыть, что дни его сочтены, не может придумать ничего лучшего, чем выкапывать остатки прошлого, одевать своих гостей в личины смерти и устраивать у себя во дворце танцы для теней своих предков!

– Душа твоя мрачна, Лелия, – сказал Тренмор, – можно подумать, что ты одна здесь боишься не умереть в свой черед.

Глава XV

«Этот молодой человек заслуживает больше сочувствия, Лелия. Я думал, что у вас от женщины только прелесть и обаяние. Неужели же в вас гнездятся и присущие ей бесстыдное тщеславие и жестокая неблагодарность? Нет, я готов скорее усомниться в существовании Бога, нежели в доброте вашего сердца. Лелия, скажите же мне, что вы хотите сделать с душой поэта, которая отдалась вам и которую вы приняли, поступив, может быть, неблагоприятно! Теперь вы уже не можете оттолкнуть ее – она разобьется, и берегитесь, Лелия, Господь спросит у вас за нее отчета, ибо от Него она к нам пришла, к Нему и должна вернуться. Нет сомнения в том, что юный Стенио – один из Его избранников. Разве Он не наделил его красотой своих ангелов? Есть ли на свете юноша чище и нежнее? Я никогда не видел более умиротворенного лица, никогда не видел неба, такого синего и прозрачного, как его глаза. Я никогда не слышал девического голоса более сладостного и гармоничного, чем его голос; произносимые им слова подобны слабым и чуть приглушенным звукам, которые издают струны арфы от дуновения ветерка. А его медленная походка, его движения, небрежные и грустные, его белые тонкие руки, его нежное и гибкое тело, его шелковистые белокурые волосы, цвет его лица, переменчивый как осеннее небо, этот яркий румянец, который заливает его щеки от одного вашего взгляда, эта голубоватая бледность, которую одно ваше слово разливает по его губам, – по всему видно, что это поэт, что это целомудренный юноша, душа, которую Господь послал в этот мир на страдание, чтобы испытать ее и тогда лишь возвести ее в ангельский чин.

А если вы оставите эту душу на ветру разъедающих страстей, если вы погасите ее подо льдами отчаяния, если покинете ее в глубине пропасти, как найдет она тогда путь к небесам? О женщина! Обдумайте ваши поступки! Не раздавите это нежное дитя тяжестью вашего страшного разума! Берегите его от ветра, и от солнца, и от света, и от холода, и от ударов молнии – от всего, что нас обессиливает, опрокидывает, сушит и убивает. Помогите ему ходить по земле, укройте его полою вашего плаща, проведите его меж рифов. Разве вы не можете быть ему подругой, сестрой или матерью?

Я знаю все то, что вы мне уже успели сказать, я понимаю вас, я вас поздравляю, но раз вы счастливы (в той мере, в какой вам дано быть счастливой), я забочусь уже не о вас, а о нем, о том, кто страдает; я его жалею. Послушайте, женщина! Неужели у вас, которой известно столько всего, неведомого мужчине, – неужели у вас нет средства помочь его горю? Неужели вы не можете поделиться с другими частицей той мудрости, которую вам даровал Господь? Неужели вы можете творить только зло и бессильны содействовать добро?

Ну что же, Лелия, если это действительно так, надо удалить от вас Стенио или вам самой бежать от него».

Глава XVI

«Удалить Стенио или бежать от него! О, пока еще нет. Вы так холодны, сердце ваше так старо, друг мой, что вы говорите о том, чтобы бежать от Стенио, будто речь идет о том, чтобы покинуть этот город ради другого, людей сегодняшнего дня ради людей завтрашнего, будто речь идет о том, чтобы вы, Тренмор, покинули меня, Лелию!

Я знаю, вы достигли своей цели, вы спаслись от кораблекрушения, и вот вы в гавани. Никакое чувство не возвышается в вас до настоящей страсти, вам уже ничего не нужно, никто не может ни создать, ни разрушить ваше счастье, вы сами и творец его, и его хранитель. Я тоже, Тренмор, поздравляю вас, но я не могу подражать вам. Я восхищаюсь вашей упорной и основательной работой, но все созданное вашими усилиями – это крепость, а я женщина, я художник, и мне нужен дворец: я не буду в нем счастлива, но, во всяком случае, не умру. А в ваших ледяных и каменных стенах я не проживу и дня. Нет, пока еще нет! Господь этого не хочет! А можно ли опережать Его веление? Если мне дано достичь той ступени, на которой вы находитесь сейчас, я по крайней мере хочу быть достаточно зрелой, чтобы воспринять всю мудрость, и достаточно уверенной в себе, чтобы с грустью не оборачиваться назад.

Мне уже слышатся ваши слова. „Слабая и жалкая женщина, – скажете вы, – ты боишься получить то, о чем часто просишь, я ведь видел, как ты добивалась победы, которую отталкиваешь теперь от себя!..” Ну что же! Я слаба, я труслива, но во мне нет ни неблагодарности, ни тщеславия, я лишена этих женских пороков. Нет, друг мой, я не хочу разбивать сердце человека, не хочу гасить душу поэта. Успокойся, я люблю Стенио».

Глава XVII

«Вы любите Стенио! Женщина, вы лжете. Подумайте о том, кто мы – вы, он и я. Вы любите Стенио! Этого нет и не может быть. Подумайте только о столетиях, которые вас разделяют! Вы увядший, измятый, сломанный ветром цветок; вас без конца качали волны всех морей сомнения и разбивали потом о берег отчаяния! А вы решаетесь пуститься еще в одно путешествие? Нет, не может этого быть, Лелия! Что надобно теперь таким, как мы с вами? Покой могилы. Вы прожили жизнь! Так дайте же жить и другим. Не кидайтесь, печальная и всегда ускользающая тень, на путь тех, которые не завершили своей задачи и не потеряли надежды. Лелия, Лелия! Могила зовет тебя. Разве ты недостаточно страдала, несчастная, от всей своей философии? Так закутайся в саван, спи наконец в тишине, усталая душа, которую Господь больше не осуждает уже ни на труд, ни на страдание.

Это верно, вы достигли меньшего, чем я. У вас остались еще какие-то воспоминания о прошлом. Вы еще боретесь иногда с врагом человека – с надеждой на земные блага. Но верьте мне, сестра моя, всего лишь несколько шагов отделяют вас от цели. Состариться легко, но никому еще никогда не случалось помолодеть.

Повторяю, дайте ребенку спокойно расти и жить, не губите еще не распустившийся цветок. Не овевайте вашим ледяным дыханием чудесные, залитые солнцем дни его весны. Не надейтесь дать ему жизнь, Лелия: жизни в вас больше нет, вам остается лишь сожаление о ней; вскоре, как и у меня, у вас останется только воспоминание».

Глава XVIII

«Ты мне это обещал, ты будешь нежно любить меня, и мы с тобой будем счастливы. Не пытайся опередить время, Стенио, не старайся во что бы то ни стало добраться до тайн жизни. Дай ей подхватить тебя и унести туда, куда все мы идем. Ты боишься меня? Самого себя тебе надо бояться, самого себя надо сдерживать, ибо в твои годы воображение портит самые сочные плоды, принижает все радости. В твои годы люди не умеют пользоваться ничем, они всё хотят знать, всем владеть, все исчерпать, а потом удивляются, что блага человека так ограничены, в то время как удивляться следовало бы только сердцу человека и его потребностям. Послушай меня, иди тихонько, упивайся по очереди всеми этими невыразимыми радостями слова, взгляда, мысли, всеми этими столь много значащими мелочами рождающейся любви. Разве мы не были счастливы вчера под сенью этих деревьев, когда сидели рядом и одежды наши соприкасались, а взгляды находили друг друга во мраке? Было совсем темно, и все же я видела вас, Стенио; я видела вас таким, какой вы есть, – прекрасным, и мне казалось, что передо мною силф этих лесов, душа этого ветра, ангел этого таинственного и нежного часа. Заметили ли вы, Стенио, что есть часы, когда мы вынуждены любить, часы, когда нас охватывает вдохновение, когда сердце бьется чаще, когда душа вырывается на свободу и разбивает все оковы воли, чтобы найти другую душу и слиться с нею?

Сколько раз с наступлением ночи, когда всходит луна, или с первыми лучами дня, сколько раз в полуночной тишине и в тишине другой, полуденной, такой подавляющей, такой мучительной и тревожной, я чувствовала, как сердце мое устремляется куда-то к неведомой цели, к неясному, безымянному счастью, рассеянному повсюду в воздухе, в небе, будто незримый возлюбленный, будто сама любовь! И все-таки, Стенио, это не любовь. Вы слепы, верите, вы ничего не знаете и на все надеетесь, а я знаю все, знаю, что по ту сторону любви есть желания, потребности, надежды, которые никогда не гаснут. Чем был бы без них человек? Для любви ему дано на земле так мало дней!

Но в эти часы то, что мы чувствуем, настолько живо, настолько властно, что мы распространяем его на все, что нас окружает; в эти часы, когда Господь владеет нами и нас наполняет собою, мы изливаем на все его творения сияние озарившего нас луча.

Разве вы никогда не плакали от любви к этим светлым звездам, которыми усеян синий покров ночи? Разве вы никогда не становились перед ними на колени, не простирали к ним руки и не называли их вашими сестрами? А потом – человек ведь привык к тому, чтобы его привязанности сосредоточивались на чем-то одном: для больших чувств он слишком слаб, – разве вам не случалось воспламениться страстью к одной из них? Разве вы в любви своей не выбирали из всех то ту, что мерцает красным светом над полосой темных лесов у самого горизонта, то другую, бледную и кроткую, которая прячется, словно стыдливая дева, за влажными, густыми отблесками луны; то эти три сестры, одинаково белые, одинаково прекрасные, которые светятся таинственным треугольником; то эти две сияющие подруги, которые спят, прижавшись одна к другой, в чистом небе, среди мириад менее ярких звезд. А все эти каббалистические знаки, все эти неведомые письмена, все эти странные фигуры, огромные и исполненные величия, которые они чертят над нашими головами, – неужели у вас никогда не являлось желание объяснить их и прочесть в них великие тайны нашего предназначения, летосчисления мира, имени Всевышнего, будущее души. Да, вы вопрошали эти светила с горячим восторгом, и в дрожащем блеске их лучей вам чудились влюбленные взгляды; вам чудился голос, звучавший с высоты, чтобы приласкать вас, чтобы сказать вам: „Надейся, от нас ты ушел, к нам ты и вернешься! Я твоя отчизна, это я зову тебя, я иду за тобой, рано или поздно я буду тебе принадлежать!”

Любовь, Стенио, это не то, что вы думаете, это отнюдь не тяготение всех наших сил к одному существу: это священное тяготение самых возвышенных сфер нашей души к неизведанному. Будучи существами ограниченными, мы непрерывно хотим утолить терзающие нас ненасытные желания; мы ищем некую цель вокруг нас и, по несчастной нашей расточительности, наделяем наших недолговечных идолов всеми духовными красотами, виденными нами во сне. Одних чувств нам мало. В сокровищнице наивных радостей, которыми нас тешит природа, нет ничего достаточно изысканного, чтобы утолить снедающую нас жажду счастья. Нам нужно небо, а у нас его нет!

Вот почему мы ищем неба в подобном себе создании и тратим на него всю ту высокую энергию, которая была нам дана для более благородного употребления. Мы отказываем Господу Богу в благоговении, чувстве, которое было вложено в нас, чтобы возвратиться вновь только к Богу. Мы перенесли это чувство на несовершенное и слабое существо, которое для нас, идолопоклонников, становится Богом. В дни молодости мира, когда человек не грешил перед своей природой и не изменял зову сердца, любовь одного пола к другому в нашем теперешнем понимании этого слова не существовала. Единственным связующим звеном было наслаждение; страсть духовная со всеми возникающими на ее пути препятствиями, страданиями, всей ее напряженностью – зло, которого прежние поколения не знали. Ибо в то время существовали божества, а теперь их нет.

В наши дни души поэтические переносят свой благоговейный восторг даже на физическую любовь. Странная ошибка жадного и бессильного поколения! Вот почему, когда ниспадает Божественный покров и когда из-за клубов ладана, в ореоле любви появляется на свет творение слабое и несовершенное, мы в испуге от нашего обмана, мы краснеем и опрокидываем идола и попираем его ногами.

А вслед за тем мы ищем другой! Нам ведь надо любить, а мы еще часто ошибаемся, до того самого дня, когда, образумившиеся, очищенные, просветленные, мы наконец расстаемся с надеждой надолго привязаться к чему-то земному и обращаем к Богу восторженную и чистую хвалу, которую нам всегда следовало бы воссылать только Ему одному».

Глава XIX

«Не пишите мне, Лелия; зачем вы мне пишете? Я был счастлив, и вот вы снова повергаете меня в тревогу, от которой я на мгновение избавился! Этот час, проведенный возле вас в молчании, открыл мне столько удивительного, неизъяснимого наслаждения! Как, Лелия, вы уже жалеете о том, что дали мне его изведать? Но отчего же мое горячее нетерпение вас страшит? Вы нарочно не хотите меня понять. Вы знаете, что я удовлетворюсь самым малым и буду счастлив: ничто из того, что вы сделаете для меня, не покажется мне малым, ибо я воздам должное вашим самым незначительным милостям. Я не самонадеян; я знаю, насколько я ниже вас. Жестокая женщина! Зачем вы без конца призываете меня дрожать от моего ничтожества, от которого я и так столько всего выстрадал.

Я понимаю, Лелия! Увы, я понимаю! Вы можете любить только Бога! Душа ваша может найти себе успокоение и жить только на небесах! Когда вы в часы раздумья, охваченная порывом чувств, посмотрели на меня с любовью, вы ошиблись: вы думали о Боге, вы приняли человека за ангела. Когда взошла луна, когда она осветила мои черты и рассеяла эту тьму, укрывающую ваши вымыслы, вы улыбнулись от жалости: вы узнали чело Стенио — чело Стенио, на котором вы, однако, запечатлели свой поцелуй!

Все ясно, вы хотите, чтобы я об этом забыл! Вы боитесь, что я сберегу это пьянящее ощущение и буду жить им целый день! Успокойтесь, это счастье не ослепило меня; хоть оно и выпило мою кровь, хоть оно и разбило мне сердце, разум мой не помутился. Разум никогда не может помутиться возле вас, Лелия! Успокойтесь, говорю вам, я не из тех самоуверенных шалопаев, для которых поцелуй женщины — залог любви. Я не считаю себя способным оживлять мрамор и воскрешать мертвых.

И вместе с тем дыхание ваше разгорячило мой мозг. Едва только губы ваши коснулись моих волос, мне показалось, что меня пронзает электрическая искра. Волнение было так сильно, из груди моей вырвался страдальческий крик. Нет, вы не женщина, Лелия, я это отлично вижу! Я мечтал, что один из ваших поцелуев станет для меня раем, а вы низвергли меня в ад.

Вместе с тем ваша улыбка была так ласкова, в ваших нежных словах было столько нежности, что я потом отдался утешению, которое вы несли. Это страшное чувство немного улеглось, я научился касаться вашей руки и не дрожать. Вы явили мне небо, и я поднимался туда на ваших крыльях.

Я был счастлив эту ночь, вспоминая ваш последний взгляд, ваши последние слова: я не льстил себе, Лелия, клянусь вам. Я отлично знаю, что вы меня не любите, но я уснул в том оцепенении, в которое вы меня повергли. И вот вы уже будите меня, ваш зловещий голос кричит: „Помни, Стенио, любить тебя я не могу!” Ах, я это знаю, Лелия, я слишком хорошо это знаю!»

Глава XX

«Прощайте, Лелия, я лишу себя жизни. Сегодня вы сделали меня счастливым, завтра вы мгновенно отнимете у меня счастье, которое по неосмотрительности или из прихоти вы мне подарили сегодня вечером. Мне не надо жить до завтра, мне надо уснуть в моей радости и больше уже не пробуждаться.

Яд готов; теперь я могу говорить с вами свободно – больше вы меня не увидите, вы не сможете привести меня в отчаяние. Может быть, вы еще пожалеете жертву, которую вам дано было мучить, игрушку, которую интересно было трепать в угоду своему капризу. Вы говорили, что любите меня больше, чем Тренмора, но уважали вы меня меньше, чем его. Разумеется, вы не можете его мучить так, как захочется; когда дело доходит до этого, ваша сила изменяет вам, ваши когти не могут поцарапать это сердце, твердое как алмаз. Я же был мягким воском, на котором каждое прикосновение оставляло след; как художник, я понимаю, что со мною вам было легче. Вы всячески терзали меня и придавали мне все формы, какие только создавало ваше воображение. Когда вы бывали мрачной, вы приобщали ваше творение к чувству, которое вами владело. Когда вы бывали спокойнее, вы наделяли его ангельским спокойствием; когда вы бывали раздражены, вы заражали его страшной улыбкой, которую дьявол запечатлевал на ваших губах. Так скульптор из одного и того же кусочка глины может вылепить и божество и змею.

Лелия, прости мне эту минуту ненависти, которую ты вселяешь в меня, – я ведь люблю тебя страстно, исступленно, отчаянно. Я могу тебе это сказать, и в словах моих не будет ни ослушания, ни обиды – они будут последними, которые я обращаю к тебе: ты причинила мне много зла! А ведь как легко было сделать из меня счастливого человека, поэта с радужными мечтами, с живыми чувствами: стоило сказать мне одно только слово днем, стоило только раз улыбнуться вечером – и ты сделала бы меня великим, ты бы сохранила мне молодость! Вместо этого ты стараешься только опустошить меня, лишить меня мужества. Говоря, что ты хочешь сохранить во мне священный огонь, ты гасила его до последней искорки; ты со злобой его раздувала и выжидала, пока разгорится пламя, чтобы совсем его погасить. Теперь я отказываюсь от любви, отказываюсь от жизни. Ты довольна! Прощай!

Приближается полночь. Я ухожу... туда, куда ты не придешь, Лелия! Ибо не может быть, чтобы в будущем пути наши сошлись. Мы никогда не будем поклоняться одной и той же силе, мы никогда не будем жить на одном и том же небе...»

Глава XXI

Пробило двенадцать. Когда Тренмор пришел к Стенио, поэт сидел задумчиво у огня. Было холодно и темно; ветер с пронзительным свистом пробирался под деревянную обшивку дома. На столе перед Стенио стоял наполненный до краев бокал. Задев его плащом, Тренмор его опрокинул.

– Вам надо пойти со мной к Лелии, – сказал он многозначительно, но спокойно. – Лелия хочет вас видеть. Мне кажется, что час ее пришел – она скоро умрет.

Стенио стремительно вскочил, но тут же снова упал на стул: он весь побледнел, силы ему изменили; потом он снова поднялся, судорожно схватил руку Тренмора и побежал к Лелии.

Она лежала на диване; лицо ее было мертвенно-бледно; глаза глубоко запали; глубокая складка легла на лоб, всегда белый и гладкий. Но голос ее был звучен и уверен, и презрительная улыбка играла, как обычно, на ее беспокойных губах.

Возле нее стоял миловидный доктор Крейснейфеттер, приятный человек, совсем еще молодой, светловолосый, румяный, с белыми руками, снисходительно улыбавшийся и говоривший успокоительным и покровительственным тоном. Доктор фамильярно держал руку Лелии и время от времени проверял пульс, а потом гладил ее прелестные шелковистые волосы, изящно подобранные на затылке.

– Все это пустяки, – говорил он, любезно улыбаясь, – сущие пустяки. Это холера, азиатская холера, самая обыкновенная сейчас вещь на свете и лучше всего изученная болезнь. Успокойтесь, мой ангел! У вас холера, эта болезнь уносит за полчаса тех, кто по слабости своей ее пугается, но нисколько не опасна для таких стойких натур, как мы с вами. Главное, не пугайтесь, любезная иностранка! Нас здесь двое, кто не боится холеры, мы с вами не поддадимся ей! Отпугните же это мерзкое привидение, это отвратительное чудовище, от которого у людей волосы встают дыбом. Посмеемся над холерой – это единственный способ справиться с ней.

– А что, если попробовать пунш доктора Мажанди? – предложил Тренмор.

– Почему бы и не попробовать пунш доктора Мажанди, – отвечал миловидный доктор, – если у больной нет отвращения к пуншу?

– Я слышала, – с язвительным хладнокровием заметила Лелия, – что он очень вреден. Попробуем лучше успокаивающие средства.

– Попробуем успокаивающие средства, если вы в них верите, – сказал миловидный доктор Крейснейфеттер.

– Но что бы вы нам посоветовали сами по совести? – спросил Стенио.

При слове «совесть» доктор Крейснейфеттер посмотрел на молодого поэта: во взгляде этом были сочувствие и насмешка; потом он быстро совладал с собою и серьезным тоном сказал:

– Моя совесть предписывает мне совсем ничего не предписывать и никак не вмешиваться в течение этой болезни.

– Это очень хорошо, доктор, – сказала Лелия. – Но уже становится поздно, покойной ночи. Не лишайте себя дольше драгоценного сна.

– О, не обращайтесь внимания, – ответил доктор, – мне здесь очень хорошо, и мне интересно следить за развитием болезни. Я изучаю, я страстно люблю свою профессию, и я охотно пожертвую ради нее развлечением и отдыхом, я готов даже пожертвовать жизнью, если бы это понадобилось для блага человечества.

– А что же вы называете своей профессией, доктор Крейснейфеттер? – спросил Тренмор.

– Я утешаю и ободряю людей, – ответил доктор, – в этом мое призвание. Наука раскрыла мне всю важность болезней, которые грозят человеку. Я устанавливаю их, наблюдаю, присутствую при развитии и извлекаю пользу из моих наблюдений.

– Чтобы применить все ваши гигиенические познания к вашей дражайшей персоне, – заметила Лелия.

– Я не очень верю во влияние какой-либо системы, – продолжал доктор. – В нас всех с самого рождения заложены зачатки грядущей смерти, и рано или поздно она все равно наступит; наши усилия отдалить ее часто только ускоряют ее наступление. Лучше всего не думать о ней и ждать ее, забыв, что она придет.

– Вы великий философ, – сказала Лелия, беря табак из табакерки доктора.

Тут у нее начались судороги, и она почти без чувств упала на руки Стенио.

– Крепитесь, прелестное дитя! – воскликнул юный доктор. – Если вы хоть чуточку поддадитесь вашей болезни, все пропало. Но если вы сумеете сохранить присутствие духа, она для вас будет не страшнее, чем для меня.

Лелия приподнялась на диване и, глядя на него потускневшим от страдания взглядом, все же нашла еще в себе силу иронически улыбнуться.

– Бедный доктор, – сказала она, – хотела бы я тебя видеть на моем месте!

«Благодарю покорно», – подумал доктор.

– Так вы говорите, что не верите в действие лекарств; выходит, вы не верите в медицину, – сказала она.

– Простите, я изучаю анатомию и науку о человеческом организме, его изменениях и его недугах. Это наука позитивная.

– Да, – сказала Лелия, – наука, которую вы изучаете как приятное искусство. Друзья мои, – продолжала она, повернувшись спиной к доктору, – сходите-ка за священником: я вижу, что врач бросает меня на произвол судьбы.

Тренмор побежал за священником. Стенио порывался сбросить врача с балкона.

– Не трогай его, – сказала Лелия, – мне с ним забавно; дай ему какую-нибудь книгу, отведи ко мне в кабинет и посади там перед зеркалом, пусть он займется. Когда я почувствую, что присутствие духа меня покидает, я пошлю за ним, чтобы он поучил меня стоицизму и чтобы я, умирая, могла смеяться над этим человеком и над его наукой.

Священник явился. Это был высокий и представительный ирландский священник из капеллы святой Лауры. Он приблизился к больной медленно и торжественно. Вид его внушал благоговейное уважение: одного его спокойного, глубокого взгляда, который, казалось, отражал небо, было бы достаточно, чтобы вселить в человека веру. Истрадавшаяся Лелия уткнула лицо в сведенную судорогой руку, на которую упали ее черные волосы.

– Сестра моя! – воскликнул священник голосом звучным и проникновенным.

Лелия опустила руку и медленно повернулась к святому отцу.

– Опять эта женщина! – воскликнул он, в страхе от нее отступая.

Лицо его перекошилось, его полные ужаса глаза впились в нее, он весь побелел, и Стенио вспомнил тот день, когда священник этот побледнел и задрожал, встретив скептический взгляд, которым Лелия окинула толпу молящихся в церкви.

– Это ты, Магнус, – прошептала она, – ты узнаешь меня?

– Как не узнать тебя, женщина! – вскричал растерянный священник. – Как не узнать! Ложь, отчаяние, погибель!

В ответ Лелия только расхохоталась.

– Подойди сюда, – сказала она, притягивая его к себе своей холодной, посиневшей рукой, – подойди сюда, священник, и поговори со мною о Боге. Ты знаешь, зачем тебя позвали сюда? Тут есть душа, которая покидает землю, и надо направить ее на небо. Можешь ты это сделать?

Оцепеневший от ужаса священник молчал.

– Послушай, Магнус, – сказала она с печальной иронией, поворачивая к нему свое бледное лицо, уже покрытое тенью смерти, – выполняй миссию, которую тебе доверила церковь, спасай меня, не трать времени зря – я скоро умру!

– Лелия, – ответил священник, – я не могу спасти вас, вы это отлично знаете: вы сильнее, чем я.

– Что это значит? – спросила Лелия, приподнимаясь со своего ложа. – Неужели я уже в стране грез? Неужели я больше не принадлежу к человеческому роду, который пресмыкается, просит и умирает? Неужели этот объятый ужасом дух не человек, не священник? Не помутился ли у вас разум, Магнус? Вы вот стоите передо мною живой, а я умираю. И вместе с тем мысли ваши путаются, и ваша душа слабеет, в то время как моя спокойно просит дать ей силу взлететь ввысь. О вы, маловерный, призовите Бога к вашей умирающей сестре и оставьте детям этот суеверный ужас; он способен только внушить жалость. В самом деле, кто такие вы все? Вот изумленный Тренмор, вот Стенио, юный поэт; он смотрит на мои ноги, и ему кажется, что на них когти. А вот и священник, он отказывается дать мне отпущение грехов и напутствовать меня! Неужели я уже умерла? Неужели все это сон?

– Нет, Лелия, – сказал наконец священник голосом печальным и торжественным. – Я не считаю вас злым духом. В злых духов я не верю, и вы это хорошо знаете.

– Ах! Ах! – воскликнула она, поворачиваясь к Стенио. – Послушайте только этого священника. Нет ничего менее поэтичного, чем человеческое совершенство. Хорошо, отец мой, давайте отвергнем Сатану, осудим его на небытие; я не дорожу союзом с ним, хотя все демоническое теперь в моде и это он внушил Стенио хорошие стихи в мою честь. Если дьявол не существует, я спокойна за свое будущее. Я могу хоть сейчас расстаться с жизнью, и в ад я не попаду. Но куда мне тогда идти, скажите? Куда вам угодно меня направить, отец мой? Вы говорите, на небо?

– На небо! – воскликнул Магнус. – Вас на небо? И ваши уста дерзнули произнести это слово?

– А что, разве неба тоже не существует? – спросила Лелия.

– Женщина, – ответил священник, – для тебя его не существует!

– И это называется утешитель! – воскликнула она. – Но раз ты не можешь спасти мою душу, пусть приведут врача и пусть он за любые деньги спасет мне жизнь.

– Мне тут нечего делать, – сказал доктор Крейснейфеттер, – болезнь развивается нормально, и все известно наперед. Вам хочется пить? Так пусть вам принесут воды, и успокойтесь. Будем ждать! Лекарства вас сейчас могут убить. Предоставим все природе.

– Добрая природа! – сказала Лелия. – Мне бы хотелось призвать тебя! Но где ты, где твое милосердие, где твоя любовь, где твоя жалость? Я хорошо знаю, что произошла от тебя и к тебе должна возвратиться, но во имя чего должна я молить тебя оставить меня здесь еще на один день? Может быть, есть где-нибудь клочок иссушенной земли, которому нужен прах мой, чтобы там могла вырасти трава. Если это так, то надо, чтобы я осуществила мое предназначение. Но вы, святой отец, призовите на меня взгляд Того, Кто выше природы и Кто может повелевать ей. Он может приказать чистому ветерку влиться в мое дыхание, соку растений оживить меня, солнцу, которое взойдет в небе, разогреть мою кровь. Так научите же меня молиться Богу!

– Богу! – повторил священник, сокрушенно опустив голову. – Богу!

Горячие слезы потекли по его бледным щекам.

– О господи! – сказал он. – О бежавшая от меня сладостная мечта! Где ты? Где мне найти тебя? Надежда, почему ты безвозвратно меня покидаешь? Дайте мне уйти отсюда, сударыня! Здесь сомнения снова застилают мне душу мраком; здесь перед лицом смерти рассеивается моя последняя надежда, моя последняя иллюзия! Вы хотите, чтобы я даровал

вам небо, чтобы я помог вам найти Господа. Так вы ведь узнаете тогда, существует Он или нет; выходит, вы счастливее меня – я-то ведь этого не знаю!

– Уйдите, – сказала Лелия, – гордые люди, уйдите от меня прочь! А вы, Тренмор, взгляните на все это, взгляните на этого врача, который не верит в науку, и на этого священника, который не верит в Бога. А ведь врач этот – ученый, а священник – теолог. Говорят, что один облегчает страдания умирающих, а другой утешает живых; и обоим им не хватает веры у постели умирающей женщины!

– Сударыня, – сказал Крейснейфеттер, – если бы я вел себя с вами как врач, вы бы высмеяли меня. Я знаю вас, вы не обыкновенная женщина, вы философ...

– Сударыня, – сказал Магнус, – вы забыли нашу прогулку в лесу на Гримзеле? Ведь если бы я осмелился вести себя с вами как священник, вы заставили бы меня впасть в безверие.

– Так вот, оказывается, в чем ваша сила! – с горечью сказала Лелия. – Вы черпаете ее в слабости другого. А как только вы встречаете сопротивление, вы отступаете и со смехом признаетесь, что занимались обманом людей. О, шарлатаны и лицемеры! Горе нам, Тренмор, куда мы с вами попали! В какое время мы живем! Ученый все отрицает, священник во всем сомневается. Посмотрим, существуют ли еще поэты. Возьми свою арфу, Стенио, и спой мне стихи Фауста или загляни в свои книги и расскажи мне о страданиях Обермана⁷, о восторгах Сен-Пре⁸. Посмотрим, поэт, не разучился ли ты понимать страдание; посмотрим, юноша, веришь ли ты еще в любовь.

– Увы, Лелия! – вскричал Стенио, заламывая свои белые руки. – Вы женщина, и вы в это не верите! Что же такое творится с нами, со всем нашим веком?

⁷ *Оберман* – герой одноименного романа французского писателя Этьена Пивера де Сенанкура (1770–1846).

⁸ *Сен-Пре* – герой романа Жан-Жака Руссо «Юлия, или Новая Элоиза» (1761).

Глава XXII

«Бог неба и земли, Бог силы и любви, услышь чистый голос, который исторгнут из чистой души и из девственного лона! Услышь мольбу ребенка, верни нам Лелию!

Почему, Господи, ты хочешь так рано отнять у нас нашу любимую? Услышь громкий и могучий голос Тренмора, человека, который страдал, человека, который жил, услышь призыв другого, еще не изведавшего в жизни зла. Оба просят Тебя оставить им Лелию, их богатство, их поэзию, их надежду! Если Ты уже можешь подарить ей небесную славу и окружить ее вечным блаженством, возьми ее, Господи, она принадлежит Тебе; то, что Ты предназначил ей, выше того, что Ты у нее отнимаешь. Но, спасая Лелию, не терзай нас, не губи, Господи! Позволь нам следовать за ней и встать на колени у ступенек трона, на котором она должна восседать...»

– Все это очень хорошо, – сказала Лелия, прерывая его, – но это всего-навсего стихи. Оставьте в покое эту арфу или положите ее на окно: ветер сыграет на ней лучше, чем вы. Теперь подойдите ближе. А ты, Тренмор, оставь нас – спокойствие твое печалит меня и приводит в отчаяние. Подойди, Стенио, говори мне о себе, обо мне. Бог слишком далеко, боюсь, что Он нас не услышит; но частица Его вложена в тебя. Покажи мне Бога, сокрытого в твоей душе. Мне кажется, что пылкое тяготение этой души к моей, горячая молитва, которую ты обратил бы ко мне, дали бы мне силу жить. Силу жить! Да! Надо только захотеть. Моя болезнь, Стенио, состоит в том, что я не могу найти в себе эту волю. Ты улыбаешься, Тренмор. Уходи. Увы! Стенио, верь мне, я пытаюсь противостоять смерти, но это лишь слабая попытка. Я не столько ее боюсь, сколько хочу, мне хотелось бы умереть просто из любопытства. Увы! Мне необходимо небо, но меня одолевает сомнение... И если над всеми этими звездами нет никакого неба вообще, я хотела бы насладиться его видом, покамест я еще на земле. Может быть, ожидать его надо только здесь, внизу? Может быть, оно в сердце человека?.. Ты молод и полон жизни, так скажи мне, может быть, любовь – это и есть небо? О, как путаются мысли, прости мне эти минуты бреда. Так хотелось бы во что-нибудь верить, пусть в тебя, пусть даже за час до того, как я навсегда расстанусь с людьми и с Богом!

– Сомневайся в Боге, сомневайся в людях, сомневайся во мне, если хочешь, – сказал Стенио, становясь перед ней на колени, – только не сомневайся в любви: не сомневайся в сердце своем, Лелия! Если ты должна сейчас умереть, если мне суждено потерять тебя, мука моя, мое сокровище, моя надежда, дай мне, по крайней мере, поверить в тебя на час, на миг. Увы! Неужели ты умрешь так, что я даже не увижу тебя живой? Неужели я умру с тобой, и ты, та, которую я обнимал, останешься для меня только грезой? Господи! Неужели любовь существует только в сердце, которое стремится, в воображении, которое страдает, в снах, которые баюкают нас ночами, когда мы одни? Неужели это неуловимое дыхание ветра? Неужели это метеор, который сверкнет и исчезнет? Неужели это слово? Что это такое, Господи? О небо! О женщина! Неужели вы так и не скажете мне, что же это такое!

– Это дитя хочет вывести у смерти тайну жизни, – сказала Лелия, – он преклоняет колени над гробом, чтобы изведать любовь! Бедное дитя! Боже, пожалей его и верни мне жизнь, чтобы сохранить его жизнь! Если Ты мне вернешь ее, я даю Тебе обет жить ради него. Он говорит, что я богохульствовала, возводя хулу на любовь. Ну что же, я склоню мою гордую голову, я буду верить, буду любить!.. Сделай только так, чтобы я жила жизнью плоти, и я попытаюсь жить жизнью души.

– Ты слышишь, Господи, – воскликнул Стенио, – слышишь, что она говорит, что обещает? Спаси ее, спаси меня! Отдай мне Лелию, верни ей жизнь!..

Лелия вся похолодела и упала на пол. Это был последний, страшный приступ. Стенио прижал ее к груди; он был в отчаянии и плакал. Грудь его горела, горячие слезы падали на

лицо Лелии. От его живительных поцелуев губы ее покраснели, молитва его, может быть, умилоствовала небо; Лелия чуть приоткрыла глаза и сказала Тренмору, который помог ей приподняться:

– Стенио возвысил мне душу, если вы хотите снова сломить ее вашим разумом, убейте меня сейчас же.

– Зачем я буду отнимать у вас единственный остающийся вам день? – сказал Тренмор. – Последнее перо с его крыла еще не упало.

Часть вторая

Глава XXIII Магнус

Однажды утром Стенио спускался по лесистым склонам Монте-Розы. Пробираясь по тропинке, заросшей густой травой, он вышел на открытую площадку, образовавшуюся от обвала. Это были дикие и величественные места. Вокруг обломков скалы разрослась пышная зелень. Высокие ломоносы обвивали своими пахучими ветками разбросанные по оврагу запыленные камни. С обеих сторон огромными отвесными стенами высились склоны горы, окаймленные темными елями и увитые диким виноградом. На самом дне жерловины по выстланному разноцветными камушками руслу катился прозрачный поток. Если вам никогда не приходилось видеть стремнины, бегущей по разрытому чреву горы с бесчисленным множеством водопадов, очищающих ее воды, вы не знаете, сколько красоты может быть в водной стихии и сколько чистой гармонии.

Стенио любил проводить ночи, завернувшись в плащ, где-нибудь у края водопада, под благоговеющей сенью высоких кипарисов, в немых, неподвижных ветвях которых замирали ветры. Их густые верхушки приглушают стоны бури, а таинственный и глубокий рокот воды, вырываясь откуда-то из недр земли, подобен церковному хору, доносящемуся из мрачных катакомб. Улегшись на свежей, искрящейся росинками траве у самого края потока, поэт любовался луной и, слушая журчание воды, забывал о часах, которые он мог бы провести с Лелией, ибо в этом возрасте все становится счастьем любви, даже разлука. Сердце того, кто любит, так богато поэзией, что ему бывает нужно уединиться и сосредоточиться, чтобы с упоением предаться мыслям о любимой, наделяя ее в своем представлении теми качествами, которые в действительности существуют лишь в нем самом.

Много ночей Стенио провел в этом экстазе. Багряные заросли вереска укрывали его голову, полную пылких мечтаний. Утренняя заря усыпала его мягкие волосы своими благоухающими слезинками. Высокие сосны в лесу обдавали его ароматом, который они источают всегда на рассвете; зимородок, живущая у воды красивая одинокая птица, печально кричал среди черных камней и белой пены потока, который любил поэт. Это была чудесная жизнь любви и молодости, жизнь, которая впитала в себя счастье сотни жизней и которая вместе с тем пронеслась столь же стремительно, как эти кипучие воды и парившая над водопадами птица.

В падающей, в бегущей речке слышатся тысячи голосов, разнообразных и мелодичных, переливаются тысячи красок, темных и светлых. То, незаметная и робкая, она набегает, вся дрожа, на полосы мрамора, которые оставляют на ней свой иссиня-черный отблеск; то, белая как молоко, она пенится и впрыгивает на скалы – голос ее тогда словно перехвачен гневом. То, зеленая, как трава, которой она едва касается проходя, или голубая, как тихое небо, которое она отражает, она свистит в тростнике, словно охваченная страстью змея; то спит на солнце и просыпается, чуть слышно вздыхая от малейшего дуновения ласкающего ее ветерка. Порой она ревет, будто заблудившаяся в ущельях телка, и низвергается торжественно и мерно в пучину, которая захватывает ее, укрывает в своих глубинах и душит. Тогда она бросает солнечным лучам легкие капельки брызг, и те окрашиваются всеми оттенками радуги. Когда ее прихотливые переливы пляшут над зияющей пропастью, она кажется нам прозрачной сернистой, и взгляды наши зачарованы всем этим волшебством, словно по мановению заклинателя змей. Воображение наше бессильно, ибо то, что создано мыслью,

не может быть прекраснее дикой и грубой природы. Надо только глядеть на нее, надо все ощутить: самым великим поэтом становится тогда тот, кто меньше всего сочиняет.

Но в глубине сердца Стенио таился источник всякой поэзии – любовь. И, упоенный этой любовью, он как бы венчал самые поразительные картины природы великою мыслью, великим образом – образом Лелии. До чего же хороша была Лелия, отраженная в горных потоках и душе поэта! Какой строгой и возвышенной она казалась ему в серебряном сиянии луны! Каким звучным, каким вдохновенным был ее голос в стенаниях ветра, в воздушных аккордах водопада, в магнетическом притяжении цветов и трав, которые ищут, призывают и целуют друг друга во мраке ночи, в час священных тайн и божественных откровений! Лелия была тогда всюду: в воздухе, в небе, в каждом ручейке, в цветах. В отблесках звезд Стенио видел ее переменчивый и пронизательный взгляд; в дуновении ветерка он слышал ее едва различимые слова; шепот волны нес ему ее священные песни, ее глаза провидицы; ему чудилось, что в чистой небесной лазури парит ее мысль – то словно бледный, смутный и полный грусти крылатый призрак, то словно ангел, излучающий свет, то будто демон, презрительный и насмешливый. Раздумья Лелии всегда были отмечены чем-то ужасным, но ужас этот только разжигал страстные желания юноши.

В безумии своем, бродя ночами по безмолвным пустынным долинам, он громко ее призывал; и когда голос его пробуждал уснувшее эхо, ему казалось, что далекий голос Лелии печально отвечает ему из недр облаков. Когда шум его шагов спугивал лань, которая паслась на траве, и он слышал, как, убегая, она шуршит разбросанными по тропинке листьями, ему чудилось, что это легкие шаги Лелии, что это шуршит ее платье, осыпающее с куста цветы. А если какая-нибудь из красивых птиц этих долин – горный тетерев с серебристой грудью, розовато-жемчужный поползень или куропатка с черными без отблесков перьями – садилась рядом и глядела на него спокойно и гордо, готовая взмахнуть крыльями и взлететь в небо, Стенио думал, что, может быть, это Лелия, принявшая ее образ и готовая улететь в вольные края.

«Может быть, – думал он, снова спускаясь в долину, доверчивый и боязливый, как ребенок, – может быть, мне уже больше не отыскать Лелию среди людей».

И он в ужасе упрекал себя за то, что мог покинуть ее так надолго, хоть в мыслях его она была с ним на всех его прогулках, хоть все горы и облака были полны ею, хоть образ ее чудился ему на самых недостижимых вершинах, там, где меньше всего можно было надеяться ее встретить.

В этот день он остановился у глубокой лесной прогалины и приготовился было уже возвращаться назад, ибо увидел перед собой человека, а самые красивые пейзажи теряют свою прелесть, когда одиночество того, кто приходит помечтать, бывает нарушено.

Но незнакомец был красив и суров, как сами эти места. Взгляд его горел, как восходящее солнце, и первые вспышки зари, которыми был окрашен ледник, яркими отблесками своими озаряли величественное лицо священника. Это был Магнус. Казалось, он взволнован чем-то только что виденным. В глазах его можно было прочесть то радость, то скорбь. Волнение его молодило.

Увидев Стенио, он поспешил к нему.

– Ну вот, юноша, – торжествующе воскликнул он, – ты один, ты плачешь, ты ищешь Бога! Женщины больше не существует!

– Женщины! – повторил Стенио. – Для меня на свете существует только одна женщина. Но о какой женщине вы говорите?

– Об единственной для вас и для меня женщине на свете, о Лелии! Скажите мне, юноша, верно ли, что она умерла? Отреклась ли она от Бога, предав свою душу дьяволу? Видели ли вы, как черная фаланга духов тьмы толпится возле ее изголовья и терзает ее в минуты агонии? Видели ли вы, как покинула тело ее душа, проклятая, мертвенная и мрач-

ная, с огненными крыльями и окровавленными когтями? Так вздохнем же теперь свободно! Господь очистил землю, он низверг Сатану в его хаос. Теперь мы можем молиться, можем надеяться. Посмотрите, как радостно всходит солнце, как свежи и красны в долине розы! Посмотрите, как птицы взмахивают своими крыльями, как легко они взмывают к небу! Все возрождается, все надеется, все будет жить! Лелия умерла!

– Несчастный! – вскричал Стенио, хватая священника за горло. – Что за дьявольские слова у вас на языке? Какое безумие, какая гибельная мысль вами овладела? Откуда вы? Где вы провели ночь? Откуда вы знаете то, что вы дерзнули сказать? Давно ли вы покинули Лелию?

– Я покинул Лелию туманным, холодным утром. Начинало светать. Пронзительно кричал петух. Голос его врезался в тишину и отдавался под кровлей домов, как злое проклятие. Ветер завывал под пустынным порталом собора. Я прошел по наружной галерее, чтобы пойти к умирающей. Шпили зубчатых башенок скрывались в тумане, и большая статуя бледнолицего архангела на восточной стороне тонула в утренней мгле. Тут я отчетливо увидел, как архангел взмахнул своими большими каменными крыльями, словно готовый вспорхнуть орел, только ноги его остались прикованы к карнизу, и я услышал, как он произнес: «Лелия еще не умерла!» В эту минуту пролетела сова – она задела мой лоб своим влажным крылом и скорбным голосом повторила: «Лелия не умерла!» И белая мраморная Дева, укрывшаяся в западной нише, испустила глубокий вздох и сказала: «Еще нет», голосом таким слабым, что мне показалось – все это я вижу во сне, и я останавливался несколько раз по дороге, чтобы удостовериться, что не сплю.

– Святой отец, – сказал Стенио, – вы помутились умом. О каком утре вы говорите? Знаете вы, сколько времени прошло с тех пор, как все это совершилось?

– С того дня, – ответил Магнус, – я видел, как несколько раз солнце всходило и, сияя, разливало на этот сверкающий лед свои ослепительные лучи. Не могу вам сказать, сколько раз это повторялось. С тех пор как Лелии нет на свете, я перестал считать дни, перестал считать ночи, жизнь моя течет чисто и беззаботно, как сбегает с холма ручеек. Душа моя спасена...

– Слава богу, вы не в своем уме! – сказал юноша. – Вы говорите о той страшной болезни, которая месяц назад едва не отняла у нас Лелию. В самом деле, по волосам вашим и бороде я вижу, что вы давно уже в горах. Пойдемте со мной, несчастный человек, я постараюсь выслушать историю ваших страданий и облегчить их.

– Мои страдания окончились, – сказал священник с улыбкой, которую можно было принять за ниспосланную свыше – такой она была спокойной и кроткой. – Я живу; Лелия умерла. Выслушайте рассказ о моей радости. Когда я явился в жилище этой женщины, я почувствовал, что земля колеблется у меня под ногами, а когда я хотел взойти на лестницу, ступеньки три раза ускользали у меня из-под ног. Но когда двери открылись, я увидел множество людей и тут же вспомнил, как должен себя держать священник перед народом, чтобы заставить уважать и Бога и себя. Я совсем позабыл о Лелии. Я прошел по комнатам без волнения и без страха. Когда я очутился в самой дальней комнате, я больше не помнил имени женщины, которую хотел видеть, ибо, повторяю, там было много народа и я чувствовал на себе чужие взгляды. Знаете ли вы, как тяжок человеческий взгляд? Случалось ли вам когда-нибудь прикидывать его на вес? О, он тяжелее, чем вот эта гора; но чтобы в точности знать, что это такое, надо быть священником, носить рясу, которую вы видите на мне, сын мой; помнится, это был кабинет, весь обтянутый белым и заполненный капканами и ловушками. Сначала у меня было такое чувство, что я иду по мягкой и тонкой шерсти ковра, – мне показалось, что в алебастровых вазах стоят белые розы, а из матовых стеклянных шаров льется белый ласковый свет. Мне показалось также, что на белой атласной постели я вижу женщину в белой одежде. Когда она повернула ко мне свое мертвенно-бледное лицо, когда я встре-

тил ее холодный взгляд, владевшее мною очарование сразу исчезло. Я стал ясно все видеть вокруг и узнал место, куда меня привели. Розы превратились в змей, стебли их стали извиваться, страшные головы потянулись ко мне. Стены окрасились кровью, благоухающие вазы наполнились слезами, и я увидел, что ноги мои больше не касаются земли. Лампы извергали красное пламя, оно поднималось в воздух пылающими кольцами, которые душили меня, как угрызения совести. Я снова взглянул на диван: это была по-прежнему Лелия, но она лежала на раскаленных углях, она умирала в страшных мучениях. Хорошо помню, что она просила меня спасти ее; но тут я сразу же вспомнил о том, как когда-то обращался к ней с тщетными мольбами, вспомнил, сколько напрасных слез я пролил у ее ног, и меня охватило злобное чувство. Она погубила мою душу, она отняла у меня Бога, я был рад, что получил возможность отомстить ей, погубить ее душу и в свою очередь отнять у нее Бога; вот почему я проклял ее и спасся, и Господь вознаградил мою храбрость, ибо тотчас же облако заволокло мой взгляд. Лелия исчезла, исчезли и змеи; языки пламени, и кровь, и слезы – все исчезло, и я очутился под сводами собора, и вокруг меня не было ни души. Светало, туман понемногу рассеивался; каменный архангел у входа поднес тогда к губам трубу, которую столько веков держал в неподвижной руке. Он громко затрубил, и в звуках фанфары я услышал спасительный крик: «Лелии больше нет!»

Тогда Пресвятая Дева из белого мрамора, та Дева, на которую, проходя у ее ног, я не смел взглянуть, ибо она была похожа на Лелию, это Дева, такая бледная и такая красивая, у которой семь мечей в груди и все страдания души на челе, упала на ступеньки церкви и разбилась вдребезги. Доживи я до ста лет, я никогда этого не забуду. Скажите мне, вы видели осколки?

– Вчера вечером я проходил мимо, – ответил Стенио, – и могу вас уверить, что она все так же хороша собой и с ней ничего не случилось.

– Не кощунствуйте, юноша, – сказал священник с ужасающей серьезностью. – Господь поразит вас своим проклятием, Он отнимет у вас разум; я боюсь, что вы и теперь уже сошли с ума, ибо говорите вы как умалишенный. Знаете вы, что такое человек? Знаете вы землю? Знаете вы небо?

– Пустите меня, святой отец, – сказал Стенио, которого сумасшедший тащил уже за собой в свою пещеру. – Я не могу без ужаса слушать ваши слова. Вы проклинаете Лелию, вы осуждаете ее на небытие – и вы еще смеете говорить о Боге и смеете носить одежду его служителей!

– Дитя, – отвечал священник, – именно потому, что я боюсь Бога, потому, что я уважаю свое одеяние, я проклинаю Лелию! Лелию! Мою беду, мое искушение, мою гибель! Лелию, которой мне не позволено было владеть, не позволено даже возжелать ее! Лелию, эту мерзкую и подлую женщину, которая явилась ко мне в церковь, которая осквернила священный алтарь, чтобы опьянить меня своими дьявольскими ласками!..

– Вы лжете! – вскричал Стенио в гневе. – Лелия никогда вас не преследовала, никогда не любила!..

– Ах, я это знаю, – спокойно сказал священник. – Вы меня не понимаете: послушайте, сядьте вместе со мной на эту вот лиственницу, перекинутую над пропастью. Вот тут, поближе ко мне, дайте мне руку и ничего не бойтесь. Дерево гнется, поток ревет, внизу, в темной глубине, пенится пучина. Какая красота! Это прообраз жизни.

С этими словами сумасшедший обхватил Стенио своими сведенными лихорадкой руками. Он был на голову выше юноши, и безумие придавало его мускулам невероятную силу. Мрачный взгляд устремился в бездну и измерял ее глубину, в то время как его растопыренные руки, казалось, готовы были столкнуть туда юношу. Несмотря на грозившую ему опасность, Стенио не терпелось услышать, что ему скажет священник, – тайна, связывавшая его с Лелией, столько времени мучила его ревнивую душу, что он остался спокойно сидеть

на дрожавшем над пропастью стволе. Такое место зовется *чертов мост*. В каждом ущелье, у каждого водяного потока есть свои опасные переправы, названные тем же выразительным именем и доступные только сернам, храбрым охотникам и ловким горским девушкам.

– Послушай, послушай, – вскричал священник, – было две Лелии: ты этого не знал, юноша, потому что ты не был священником, потому что у тебя не было ни откровений, ни видений, ни предчувствий. Ты жил самой обыкновенной жизнью, грубой и легкой. Я был священником, я знал и небесное и земное, я видел Лелию всю целиком, видел ее обе стороны, женщину и идею, надежду и действительность, тело и душу, дар и обещание; я видел Лелию такой, какой она вышла из лона Господня: ее красоту – то есть соблазн; надежду – то есть испытание; благодеяние – то есть ложь; вы меня понимаете?.. О, это ведь совершенно ясно, и если бы все люди не были сумасшедшими, они слушали бы слова мудреца, они бы знали, где опасность, они бы остерегались врага. А это был мой враг. Он двоился: вечером он приходил и садился в церковной галерее; я отчетливо его видел, я отлично знал место, где он имел обыкновение появляться. Я и сейчас еще вижу это проклятое место! Это было на отделанной бледно-голубым бархатом галерее, наверху, под самым сводом, между двумя высокими колоннами, на их хрупких каменных гирляндах. Там были две статуи ангелов, белых как снег, прекрасных как надежда; они сплели свои белые руки и скрестили свои мраморные крылья над гербовым щитом балюстрады. Туда-то она пришла и села! Она склонилась в нечестивом спокойствии, нагло облокотилась на склоненные головы двух прекрасных ангелов; она играла серебряной бахромой драпировки; она трепала свои локоны, дерзко оглядывала храм, вместо того чтобы опустить голову и поклониться Всевышнему. О нет! Женщина эта явилась туда не для того, чтобы молиться! Она пришла, чтобы поразвлечься, чтобы показать себя, как в театре, чтобы на час отдохнуть от празднеств и маскарадов, слушая звуки органа и песнопения. И вы все – молодые и старые, богатые и знатные, – вы собрались там, следя глазами за каждым ее движением, подмечая каждый ее мимолетный взгляд, стараясь уловить мысль в непроницаемой глубине ее глаз; вы бились, как грешники в могиле, когда наступает полночь, дабы привлечь к себе внимание этой женщины, которую все так добивались. А она! А Лелия! О, сколько в ней было власти над всеми, сколько величия! С каким презрением взирала она на мужчин! Как я любил ее тогда, как благословлял эту гордость! Какой она мне казалась красивой при матовом отблеске свечей, бледная и серьезная, надменная и кроткая! О, вы не знали ее! Вы не подозревали, что творится у нее в сердце, ее взгляд вам этого никогда не открыл, вы были столь же несчастны, сколь и я! Как мысль эта привязывала меня к ней! Скажите мне, скажите! Понимали вы когда-нибудь ее душу? Угадали ли вы, что рождалось под ее высоким челом? Проникли вы в ее мозг, рылись вы в сокровищах ее мысли? Нет, вам не довелось это сделать. Лелия не принадлежала вам. Вы не знаете, что такое Лелия. Вы не видели, как печально она улыбалась, как со скучающим видом мечтала; вы не видели, как вздымается ее грудь, как струятся слезы; вы не видели, как разливается ее гнев, ненависть или любовь! Скажите мне, юноша, вы ведь были не счастливее меня! Если только вы станете уверять меня, что это не так, бойтесь пропасти, что у вас под ногами!

– А что такое другая Лелия? – спросил молодой человек, нисколько не испугавшись исступленных слов Магнуса.

– Другая Лелия! – воскликнул Магнус, схватившись за голову, как будто она разрывалась от боли. – Другая! Это отвратительное чудовище, гарпия, дух; и однако, то была все та же самая Лелия; то была только другая ее половина!

– Но где вы ее встречали? – с беспокойством спросил Стенио.

– О, повсюду, – ответил священник. – Вечером, как только кончалась служба, когда гасли свечи и толпы народа выходили из церкви, устремляясь вслед за мертвенно-бледной женщиной, которую звали Лелией; она медленно шла, закутанная в свою черную бархатную мантилью, увлекая за собой целый кортеж, который она не достаивала даже взглядом... Я

тоже устремлялся за нею вслед – глазами, душою, но я чувствовал, что я священник: я был прикован к подножию алтаря; я не мог позволить себе побежать под портал, смешаться с толпой, поднять ее перчатку, подобрать лепесток розы с ее букета. Я не мог предложить ей воды из кропильницы и дотронуться до ее длинных, тонких рук, таких мягких и таких красивых!

– И таких холодных! – добавил Стенио, захваченный его рассказом. – Этот гранит, непрестанно омываемый струящимися из ледника потоками, не так холоден, как руки Лелии, когда бы вы их ни коснулись.

– Так, значит, вы прикасались к ней? – воскликнул священник и яростно сжал его плечи. Стенио остановил его одним из тех магнетических взглядов, в которых воля человека достигает такой степени, что способна подчинить себе даже волю диких зверей.

– Продолжайте! – сказал он. – Приказываю вам продолжать свой рассказ, или одним моим взглядом я сброшу вас в пропасть.

Сумасшедший побледнел и продолжал свой рассказ, охваченный глупым ребяческим страхом.

– Ну, так знайте, – сказал он дрожащим голосом, робко глядя на Стенио, – знайте, что произошло со мною тогда. Я отрицал Бога, я проклинал мою участь, я разорвал ногтями кружево моего белоснежного стихаря. О, я губил свою душу – и все-таки я боролся... Тогда... О Господи, каким испытаниям Ты подверг меня!.. Тогда в глубине погруженной во мрак церкви я видел тень; казалось, она прошла сквозь плиты гробниц. И эта неуловимая и парившая в воздухе тень все росла и росла, и я в ужасе почувствовал, как она хватается меня своими мертвыми руками. Это было страшное видение; я отбивался от нее, я тщетно молил ее и падал перед ней на колени, как перед Господом.

«Лелия, Лелия! – говорил я. – Чего ты требуешь от меня? Чего ты хочешь? Разве я не воздвиг тебе нечестивый алтарь в сердце моем? Разве имя твое не смешалось в устах моих со священным именем Девы Марии и ангелов? Разве не к тебе я возносил клубы ладана? Разве не поместил я тебя рядом с самим Господом, о, *ненасытная*? Чего только я не делал ради тебя! Каким только страшным и нечестивым мыслям я не открывал мое сердце! О, не мешай мне, не мешай мне молиться Богу, чтобы Он простил меня и чтобы сегодня я мог уснуть без этого нависшего надо мною проклятия». Но она не слушала, она обвиняла меня своими черными волосами, впиалась в меня своими черными глазами, зачаровала своей странной улыбкой, и я отбивался от этой безжалостной тени до тех пор, пока, замученный и совсем обессиленный, не упал на ступеньки алтаря.

И что же! Иногда, оттого, что я смирялся перед Господом, оттого, что омывал мрамор слезами, мне случалось обрести ненадолго покой. Я выходил из церкви умиротворенный, я возвращался в мою тихую келью, измученный усталостью и одолеваемый сном. Но знаете, что делала тогда Лелия? Что придумала эта нечестивица для того, чтобы посмеяться надо мной, чтобы лишить меня мужества и погубить? Опередив меня, она забежала ко мне в келью; хитрость ее и злоба были таковы, что она забивалась в коврик моего анаоя, в песочные часы или в жасмины у меня под окном; и едва только я начинал мою последнюю молитву, как она вырастала вдруг передо мною и, кладя свою холодную руку мне на плечо, говорила: «Вот и я». И тогда мне снова приходилось приподнимать свои отяжелевшие веки, снова бороться с моим смущенным сердцем и повторять слова заклинаний до тех пор, пока призрак не исчезал. Иногда даже это страшное чудовище ложилось ко мне на кровать, на мою бедную, одинокую, холодную кровать, растягивалось на этом ложе, и, когда я раздвигал саржевые занавески алькова и находил ее там, она похотливо протягивала мне руки и смеялась над моим ужасом! О Господи, сколько я всего выстрадал!

О женщина, о мечта, о желание! Сколько зла ты мне причинила! Сколько разных форм ты принимала, чтобы пробраться ко мне! Сколько ты мне лгала! Сколько ловушек ты мне расставляла!

— Магнус! — с горечью сказал Стенио. — От ваших слов кровь приливает мне к лицу. Надо быть священником, чтобы обладать таким бесстыдным воображением, так бесчестить Лелию.

— Нет, — ответил священник, — я не осквернил ее даже во сне. Господь видит меня и слышит, пусть Он низвергнет меня в бездну, если я лгу! Я храбро боролся, в этой борьбе я истрепал мою душу, истерзал мою жизнь и все-таки не уступил; и после этих страшных и жгучих ночей тень Лелии каждый раз уходила девственницей. Моя ли вина, что искушение было так ужасно? Почему призрак этой женщины шел за мной по пятам? Почему он преследовал меня всюду? Бывало, что, сидя в исповедальне, я сосредоточенно слушал мрачные признания отвратительной старухи в лохмотьях. И знаете, когда мне вдруг случалось, отвечая ей, на нее взглянуть, чье лицо возникало за решеткой вместо изъеденного морщинами лица старухи? Бледный лик, злобный и холодный взгляд Лелии. Тогда слова мои замирали на губах, холодный пот проступал на лбу, глаза застилал туман; мне казалось, что я умираю. Напрасно пытался я произнести слова заклинания. Я все забывал, забывал даже имя Всевышнего; я был не в состоянии призвать небесные силы, и галлюцинация эта кончалась только тогда, когда раздавался хриплый и надтреснутый голос старухи, молившей меня об отпущении грехов. Мог ли я их отпустить, мог ли я освобождать чужие души, когда моя собственная душа была скована нечистой силой!

Но, по счастью, Лелии больше нет. Она осуждена на вечные муки, а я живу и спасусь! Ибо, признаюсь, пока она жила, я был во власти ужаснейших искушений; мысли еще более разрушительные, чем все, что я только что вам поведал, роились в моем мозгу, и, побеждая все остальные, целыми днями его не покидали. Это были сомнения, это был атеизм, проникавший в меня, как яд. Были дни, когда я настолько уставал от борьбы, когда надежда на спасение мерцала где-то так далеко, что я старался с головой окунуться в окружающую меня жизнь. Что же, говорил я себе, будем счастливы хотя бы один этот день, будем человеком, если не можем быть ангелом. Почему надо мною непременно должен тяготеть закон смерти? Почему я должен отказывать себе в человеческой жизни и жить химерами грядущего? Другие люди счастливы, они свободны! Они вольно дышат, они ходят, приказывают, они любят, а я, я — труп, простертый на могильной плите, жалкий прах человека, неотделимый от останков религии! Они возлагают надежды на эту жизнь, и надежды их могут осуществиться, ибо они способны действовать. К тому же то, что мы видим, и впрямь существует, женщина, которую можно заключить в объятия, это не тень. У меня же есть только надежда на другую жизнь, а кто мне поручится, что жизнь эта действительно будет? Господи, ты, должно быть, вовсе не существуешь, если Ты оставляешь меня во власти этих страшных сомнений! Говорят, было время, когда Ты творил чудеса, чтобы поддержать в людях их заколебавшуюся веру. Ты посылал ангела, чтобы коснуться раскаленным углем немых уст Исайи⁹, являлся в неопалимой купине¹⁰, в золотом облаке, в дуновении ночного ветра, а теперь Ты глух, Ты равнодушен к нашим заблуждениям, к нашим грехам. Ты покинул свой народ, Ты более не протягиваешь руку помощи блуждающим во тьме, Ты не обращаешься со словами, вливающими бодрость и силу, к тому, кто страдает и борется за Тебя! О, Ты всего только выдумка, Ты пустое тщеславие человека, Ты ничто! Тебя нет!..

⁹ *Исая* — один из библейских пророков. Свое красноречие Исая обрел будто бы от серафима, который коснулся его уст горящим углем.

¹⁰ *Неопалимая купина* — горящий, но не сгорающий куст терновника, в образе которого, согласно библейской легенде, явился Бог Моисею на горе Хорив.

Так я богохульствовал и давал себя увлечь порывам желаний. О, если бы я только дерзнул отдаться им безраздельно!.. Если бы я дерзнул взять мою долю жизни и овладеть Лелией хотя бы в душе!.. Но я не осмеливался и на это. В глубине души во мне таился где-то страх, мрачный и нелепый, и когда жар лихорадки становился всего сильнее, страх этот леденил мне кровь. Сатана не хотел ни овладеть мною, ни отпустить меня на свободу. Господь не удостоил ни позвать меня, ни оттолкнуть от себя. Но все мои страдания теперь окончились, ибо Лелия умерла, и я возвращаюсь к вере. Она ведь умерла, это так?

Священник опустил голову и впал в глубокое раздумье. Стенио ушел, а он даже не заметил его ухода.

Глава XXIV

Вальмарина

Когда Стенио возвращался ночью в город, он, спускаясь с горы, встретил Эдмео; тот даже не заметил его и торопливо устремился в темное ущелье.

— Куда ты бежишь так быстро и с таким таинственным видом? — крикнул Стенио вслед своему молодому другу. — Я всегда считал тебя философом; неужели ты отказался от высшей мудрости во имя человеческой страсти, во имя чего-то земного? Говори же: я много выстрадал с тех пор, как мы с тобою расстались, мне надо, чтобы кто-то воодушевил меня на жизнь или смерть. Душа моя охвачена страшной тоской. Тысячи надежд манят меня, тысячи страхов удерживают; что бы ты ни посоветовал мне в эту минуту, я сделаю все. Сама судьба послала мне эту встречу; в голосе твоём я слышу голос Провидения. Скажи мне, куда ты идешь в жизни? Скажи мне, что ты ищешь и чего стараешься избежать, во что ты веришь и что отрицаешь? Скажи мне, совершил ли ты выбор между скромным счастьем и благородным страданием?..

Он забросал Эдмео вопросами, и тот уступил желаниям своего друга. Он сел рядом с ним на скалу, поросшую мхом, у подножия разбитого каменного креста и взял руку Стенио в свои руки.

— Прежде чем отвечать тебе, — сказал он, — позволь мне самому тебя что-то спросить. Прежде чем согласиться на роль отца, которую ты на меня возлагаешь, надо, чтобы ты увидел во мне своего духовника. Расскажи мне, как ты жил этот год, раскрой мне до конца свою душу.

Стенио рассказал о своей любви, о своих сомнениях, страданиях, желаниях и надежде. Он говорил с жаром, лоб, на который спадали влажные волосы, горел, и руки его дрожали в руках юноши. Когда он окончил, Эдмео в ответ только улыбнулся грустной улыбкой; на какое-то время он погрузился в раздумье и наконец ответил.

— Ты говорил мне, — сказал он, — о мире, который мне доселе еще незнаком, но тайны которого я понимаю. Все, что ты мне рассказал, я предчувствовал, видел в моих мечтах. Сколько раз, когда ты рассказывал мне о своих восторгах, когда я размышлял о твоих надеждах, сердце мое билось, лицо горело. Но теперь вот эти радостные фантазии тают, как сумеречные тени. Взгляни на эту белую звезду, что поднимается там над снежной вершиной...

— Это Сириус, — сказал Стенио. — И это единственное, чему ты поклоняешься? Неужели ты посвятил себя безраздельно науке?

Эдмео покачал головой.

— Хотя у меня и есть склонность серьезно заниматься наукой, — сказал он, — я бы ни минуты не колебался между жизнью разума и жизнью сердца, такую, какую ты только что мне описал. Я ведь старше тебя всего на какой-нибудь год, Стенио, и хотя я не владею поэтическим даром, хоть взор мой потуплен и с женщинами я сдержан, я всякий раз дрожал, касаясь одежды прекрасной Лелии...

— Лелии! — воскликнул Стенио. — Я ведь не назвал вам этого имени! Так что же? Если бы я стал вопрошать эту скалу, то и она обрела бы голос и ответила бы мне: «Лелия»! А откуда вы знаете Лелию? Откуда вы узнали, что я ее люблю, Эдмео?

— Я ушел от нее час тому назад, — ответил Эдмео, — у меня было к ней важное поручение, несколько мгновений я с ней говорил... Лицо, голос, манеры — все в ней показалось мне странным, и, покинув ее, я долго не мог прийти в себя. Когда я встретил вас, я вас не видел, потому что был занят своими мыслями. Образ этой высокой бледной женщины витал передо мной. Слова ее холодны, Стенио, взгляд ее мрачен, душа словно из бронзы; поступки ее высоки, и печаль ее полна глубины и величия. Когда ты описал мне предмет твоей страсти,

мог ли я не узнать в нем женщину, которую только что видел и которая заполнила собой мою душу?

– Так ты ее любишь, несчастный! – вскричал Стенио. – Ты тоже ее любишь?

– Какое тебе до этого дело! – сказал Эдмео с горькой усмешкой. – Я уверен, что больше никогда ее не увижу. Успокойся, у меня нет времени на любовь. Жизнь моя поглощена другими заботами.

– Но что тебе было нужно от Лелии? Какое у тебя к ней было поручение?

– Это не секрет, и я могу тебе это сказать. Я ходил просить у нее помощи несчастным, и она дала мне огромную сумму денег так же просто, как другая кинула бы грош...

– О, она чудная, она добрая, правда? – воскликнул Стенио.

– Она богата и щедра, – ответил Эдмео. – Не знаю, добра ли она. Она равнодушно прочла письмо, которое я ей вручил. Она ничего не спросила меня о том, кто его писал. Она улыбнулась, когда я говорил ей о чаяниях религиозных и социальных. Потом она протянула мне свою холодную руку, сказав: «Не говорите со мной, если хотите сохранить веру...»

– Она холодно приняла от вас письмо, – сказал Стенио с волнением. – Вот как! Не знаю почему, но я счастлив, что она была равнодушна. Не могли бы вы мне сказать, Эдмео, кто вас послал к ней?

– Слыхали вы когда-нибудь о Вальмарине? – спросил путник.

– Вы произнесли имя, которое проникло мне в самое сердце, – ответил поэт. – Все, что мне рассказывали о добродетели, о самоотвержении и о милосердии этого человека, казалось мне баснословным. Неужели действительно на свете существует человек с таким именем, неужели он совершает все то, что ему приписывают?

– Человек этот достоин еще большего уважения, он совершает еще больше благодеяний, чем можно себе представить, – ответил Эдмео. – Если бы вы его знали, друг мой, вы бы поняли, что на свете существуют вещи более могучие и более драгоценные, чем красота, любовь, поэзия или слава...

– Добродетель, – сказал Стенио, – да, говорят, что человек этот – воплощенная добродетель. Расскажите мне о нем, познакомьте меня с ним. О нем ходит так много разнообразных слухов, имя его окутано такой славой, что женщины готовы даже приписать ему дар творить чудеса.

– Эта слава, которой он так хотел избежать, – для него настоящая мука, – ответил Эдмео. – Его скромность, его старания остаться незамеченным доходят до странности и, по не менее странной иронии судьбы, эта слава, которой столько людей напрасно добиваются и от которой он непрестанно бежит, непрестанно гонится за ним по пятам.

– Верно ли, – сказал Стенио, – что ни один из тех, кому он покровительствовал, помогал, кого выручал из беды, никогда не видел его и что ему долго удавалось, оказывая благодеяния несчастным, скрывать их источник?

– Пока его огромного состояния хватало на эту помощь, ему действительно удавалось оставаться безвестным. Но чтобы продолжать это великое дело, ему надо было установить связь с другими, такими же, как и он, и образовать сообщество...

– Погодите! – оборвал его Стенио. – Вы тоже там состоите?

– Я не состою ни в какой корпорации, – ответил Эдмео, – я просто сделался другом, учеником и посланцем Вальмарины. Я не знал, на что употребить мою молодость. Я ощущал в себе большой прилив сил, высокие потребности сердца. Любовь казалась мне эгоистической страстью, наука – иссушающим занятием, тщеславие – детской забавой; я встретил на пути своем добродетель, я дал ей себя увлечь. Я принес ей кое-какие жертвы. Может быть, мне придется принести еще большие. Я чувствую, что она может вознаградить меня за все и что я никогда о них не пожалею.

– Твои простые слова, твои благочестивые убеждения меня трогают, – сказал Стенио. – Мне хочется отказаться от любви; мне хочется бросить все, чтобы следовать за тобою. Куда ты идешь сейчас?

– Я возвращаюсь к тому, кто меня послал.

– Отведи меня к нему. Я хочу, чтобы он исцелил меня от моей безумной страсти; я хочу, чтобы он избавил меня от страдания и дал мне чистое счастье, которым я буду наслаждаться без постоянного страха за завтрашний день... Уйдем вместе!

– Я не могу взять тебя с собой, – ответил Эдмео. – Надо ведь знать, какой таинственностью любит окружать себя Вальмарина. Он не позволяет никому из друзей без предупреждения приводить новых учеников. Я поговорю с ним о тебе, и если он найдет, что ты можешь следовать этим суровым путем...

– А что же в нем особенно сурового? – в пылу увлечения воскликнул Стенио. – С тех пор как я существую, я мечтал о том, чтобы отказаться от ложных мирских благ во имя благ высоких, духовных. Когда, на мое несчастье, я встретил Лелию, в мыслях у меня был один Вальмарина. Я хотел присоединиться к нему. Эта роковая любовь совратила меня с пути; но теперь я понимаю, что Провидение привело тебя ко мне, чтобы ты меня спас...

– Да услышит тебя Господь! Пусть даже то, что ты говоришь, Стенио, правда, позволь мне все же усомниться в твоём решении. Один только взгляд Лелии – и оно растает, как этот только что выпавший снег, который ветер метет сейчас вокруг нас...

– Ты не хочешь взять меня с собой, – запальчиво воскликнул Стенио. – Понимаю! Ты гордишься своей легко доставшейся мудростью, исключаяющей всякую человеческую привязанность, и тебе доставляет удовольствие сомневаться во мне, чтобы этим меня унижить. Возьми меня с собой, пока я увлечен, иначе я стану думать, Эдмео, что добродетель – всего-навсего гордость.

На это обвинение Эдмео не сказал ни слова. Он справился с искушением на него ответить; потом, поднявшись, он приготовился покинуть Стенио. Тот все не отпускал его.

– Ну вот, – воскликнул юноша, – твое стоическое спокойствие мне все разъясняет, Эдмео, и теперь я уверен в том, что до сих пор только предчувствовал. Мне сказали – и напрасно ты хочешь теперь от меня это скрыть, – что Вальмарина – нечто большее, нежели обыкновенный благодетель и догадливый утешитель. Святое дело, которое вы совершаете, не ограничивается отдельными самоотверженными поступками. И сам ты, Эдмео, ты же не согласен играть роль раздатчика милостыни при богатом филантропе. Тебе поручено более серьезное дело. Богатства Лелии пойдут, может быть, на то, чтобы заплатить выкуп за пленников и помогать бедным, но это отнюдь не обыкновенные пленники и не заурядные бедняки. Вальмарина, может быть, не только отдает золото, но проливает свою кровь, а ты – ты хочешь чего-то большего, чем благословения нищего. Ты мечтаешь о мученическом венце. Вот единственная причина, почему ты куда-то торопишься сейчас один тихой и холодной ночью... Не отвечай мне, Эдмео, – добавил Стенио, видя, что его друг старается увильнуть от его вопросов. – Ты еще слишком молод, чтобы без волнения говорить об этих тайнах. Ты умеешь молчать, но притворяться не научился. Доставь моему сердцу радость тебя разгадать и позволь мне из деликатности ни о чем тебя не расспрашивать. Я знаю то, что хотел узнать.

– А если бы твои предположения подтвердились, ты бы пошел со мною?

– Теперь я знаю, что не могу этого сделать, – ответил Стенио, – я знаю, что не буду допущен до Вальмарины раньше, чем выдержу долгие и страшные испытания. Я знаю, что прежде всего мне предпишут навсегда отказаться от Лелии... О, я знаю, что какие бы нити ни связывали ее таинственную судьбу с вашими героическими жизнями, от меня потребуют доказательства моей добродетели, залога моей силы, больше мне будет нечего представить, и поэтому я ничего не представляю.

– Я был в этом уверен, – сказал Эдмео, вздохнув. – Я видел Лелию. Так прощай же, друг! Если когда-нибудь, освободившись от этого обмана чувств или разочаровавшись в своих надеждах...

– Да, конечно! – воскликнул Стенио, пожимая другу руку. Потом он отпустил ее и добавил: – Быть может!..

Но в ту же минуту надежда вдруг снова пробудилась в его сердце, и он прошептал:

– Никогда!

Спустя полчаса после того как они расстались, Эдмео, который шел на север, достиг вершины горы и, как обещал, запел прощальную песнь. Поэт все еще сидел на скале. Ночь была ясная и холодная, земля – сухая, воздух прозрачный. Мужественный голос Эдмео пропел гимн, и друг его ясно расслышал:

– Сириус, царь долгих ночей, солнце темной зимы, ты, который опережаешь осенью зарю и погружаешься за горизонт вослед весеннему солнцу! Брат солнца, Сириус, повелитель небес, ты, который соперничает с белым светом луны, когда все другие светила бледнеют перед нею, и пронзает своим огненным взглядом густую завесу ночного тумана! Ты, извергающий пламя пес, который без устали лижет окровавленную ногу страшного Ориона, ты, который в сопровождении своей сверкающей свиты поднимается ввысь, в эмпирей, ты, у которого нет ни равных, ни соперников! О, самый красивый, самый великий, самый яркий из ночных светочей, озари своими белыми лучами мои влажные волосы, верни надежду моей трепещущей душе и силу моему окоченевшему телу! Сверкай над моей головой, озаряй мой путь, излей на меня потоки твоего яркого света. Царь ночи, проводи меня к другу моего сердца. Помоги мне в моем таинственном пути сквозь мрак; тот, к кому я иду, то же среди людей, что ты – среди несметной толпы малых звезд.

Учитель мой велик, как ты; как ты, он блистателен и могуч; как ты, он проникает людей своим огненным взором; как ты, он расточает свет; как ты, он царит над холодной ночью; как ты, он возвещает о том, что ясным, солнечным дням настал конец!

Сириус, ты не звезда любви, ты не светило надежды. Твоей мужественной красотой не вдохновляется соловей, и под твоим суровым сиянием не раскрываются чашечки цветов. Горный орел приветствует тебя утром голосом угрюмым и диким; под твоим бесстрастным взглядом нагромождаются снега, и ветер воспевает твою красоту, шелестя бронзовыми струнами твоей зловещей арфы.

Так вот, душа, в которой ты царишь, о добродетель, не открывается больше ни надежде, ни нежности; она запаяна, как свинцовый гроб, она замкнута, как северная ночь границами горизонта, когда Сириус доходит до половины пути. Она мрачна, как зима, темна, как безлунное небо; ее пронизывает один только луч, холодный и пронзительный, как сталь. Она завернута в саван, у нее нет больше ни восторгов, ни песен, ни улыбок.

Душа моя – это ночь, это холод, это тишина; но твой блеск, о добродетель, – это луч Сириуса, сверкающий и ни с чем не сравнимый.

Голос растаял вдали. Несколько минут Стенио был еще поглощен своими мыслями. Потом он сошел в долину, устремив взор на восходившую на горизонте Венеру.

Глава XXV

Снова вернулась весна и вместе с нею – пение птиц и ароматы цветов. Вечерело, красные отблески заката уступали место фиолетовым теням. Сидя на террасе виллы Виолы, Лелия мечтала. Это был богатый дом, который один итальянец построил у подножия гор для своей любовницы. Она умерла там от тоски. И вот итальянец, не желая больше жить в местах, с которыми у него было связано столько тяжелых воспоминаний, сдал в аренду иностранцам сад, где была похоронена умершая, и виллу, носившую ее имя. Есть страдания, которые сами себя питают; есть другие, которые пугаются себя и бегут от себя, как от угрызений совести.

Нежная и томная, как ветерок, как волна, как весь этот майский день, такой теплый и клонящий ко сну, Лелия, опершись о перила, смотрела на одну из самых живописных долин, куда ступала нога цивилизованного человека. Солнце зашло за горизонт, но озеро все еще было огненно-красным – как будто античный бог, который, по преданию, каждый вечер возвращается в море¹¹, и на самом деле погрузился в эту прозрачную гладь.

Лелия мечтала. Она слушала смутные звуки долины: блеяние маленьких ягнят, теснившихся возле матерей, шум воды, поднявшийся, как только открыли шлюзы, голоса высоких загорелых пастухов с греческим профилем, одетых в живописные лохмотья. С карабинами на плече они спускались с гор и пели гортанными голосами. Слушала она и высокие звуки бубенцов, привешенных к шеям дородных пестрых коров, и задорный лай больших дворняжек, которому с горных склонов раскатисто отвечало эхо.

Лелия была спокойна и лучезарна, как небо. Стенио принес арфу и стал петь гимны удивительной красоты. Спустилась тьма, медленная и торжественная, как аккорды арфы, как прелестный голос поэта, мужественный и нежный. Когда он окончил, небо уже сокрылось под этим первым серым покровом, в который облачается ночь, когда трепещущие звезды едва проглядывают на небе, далекие и бледные, как слабая надежда на лоне сомнений. Только вдоль горизонта сквозь туман едва заметно обозначилась белая линия: то был последний свет сумерек, последнее прощанье уходящего дня.

Тогда поэт опустил руки, звуки арфы затихли; припав к ногам Лелии, Стенио попросил ее сказать ему хотя бы слово любви или жалости, хоть чем-нибудь дать ему почувствовать, что она жива, что она может быть к нему нежной. Лелия взяла руку юноши и поднесла ее к глазам; она плакала.

– О, – воскликнул он, вне себя от волнения, – ты плачешь! Значит, ты жива?

Лелия провела рукою по душистым волосам Стенио и, прижав его голову к груди, покрыла ее поцелуями. Нечасто ей случалось касаться губами этого прекрасного лба. Ласка Лелии – это был дар богов, столь же редкий, как нетронутый морозом цветок, который распускается на снегу!

И этот неожиданный и жаркий порыв чувств едва не стоил юноше жизни – холодные губы Лелии в первый раз подарили ему поцелуй любви. Он побледнел, сердце его перестало биться; едва живой, он со всею силой оттолкнул Лелию, ибо никогда смерть не была ему так страшна, как в эту минуту, когда перед ним открывалась жизнь. Он чувствовал потребность говорить, чтобы уйти от избытка счастья, которое было мучительно, как лихорадка.

– О, скажи мне, – вскричал он, вырываясь из ее объятий, – скажи мне наконец, что ты меня любишь!

¹¹ ...античный бог, который, по преданию, каждый вечер возвращается в море... – Имеется в виду Феб.

– Разве я уже не сказала тебе этого? – отвечала она и посмотрела на него таким взглядом, улыбнулась такой улыбкой, какие на картинах Мурильо бывают у Пресвятой Девы, уносимой ангелами на небо.

– Нет, ты мне этого не говорила, – ответил он, – ты сказала мне в тот день, когда ты была при смерти, что ты хочешь любить. Это означало, что перед тем, как потерять жизнь, ты жалела о том, что не жила.

– Вы так думаете, Стенио? – спросила она вдруг кокетливо и насмешливо.

– Я ничего не думаю, но я стараюсь разгадать вас. О Лелия, вы обещали попытаться меня полюбить. Это все, что вы мне обещали.

– Разумеется, – холодно ответила Лелия, – только обещать, что мне это удастся, я не могла.

– Но ты надеешься когда-нибудь полюбить меня? – спросил он тихим и грустным голосом, который тронул Лелию до глубины души.

Она обвила его руками и притянула к себе с нечеловеческой силой. Стенио, который думал было воспротивиться ей, почувствовал, что он во власти ее чар, и похолодел от ужаса. Кровь его кипела, как лава, и, как лава же, застывала. Его бросало то в жар, то в холод, ему было худо и вместе с тем хорошо. Была это радость или тоска? Он не знал. Это было и то, и другое, и еще большее. Это было небо и ад, любовь и стыд, желание и ужас, экстаз и агония.

Наконец к нему вернулось мужество. Он вспомнил, сколько безумных обетов он давал, чтобы только настал этот час смятения и восторгов; он презирал себя за малодушную робость, которая удерживала его, и, поддавшись порыву, в котором было отчаяние, он в свою очередь подчинил себе Лелию. Он заключил ее в свои объятия, припал губами к ее мягким и нежным губам, прикосновение к которым продолжало его изумлять... Но Лелия, внезапно оттолкнув его, сказала сухо и жестко:

– Оставьте меня, я вас больше не люблю.

Стенио упал на плиты террасы. Теперь-то он действительно почувствовал, что умирает: на место неистовой любви и лихорадки, вызванной ожиданием, явился леденящий сердце стыд.

Лелия принялась смеяться. Гнев воодушевил поэта, ему вдруг захотелось убить ее.

Но женщина эта была настолько равнодушна к жизни, что ни отомстить ей, ни испугать ее у него не было возможности. Стенио попытался сохранить хладнокровие и отнестись ко всему как философ; но стоило ему сказать несколько слов, как он залился слезами.

Тогда Лелия снова обняла его, но как только он попытался было ответить на ее ласки, она оттолкнула его, сказав:

– Берегись, не надо рисковать нашими сокровищами, не надо доверять их прихоти волн.

– Проклятая! – вскричал он, пытаясь подняться, чтобы от нее убежать.

Она удержала его.

– Вернись, – сказала она. – Вернись к моему сердцу. Я только что так любила тебя, а ты, наивный и пугливый, почти помимо воли принимал мои поцелуи. Ведь когда ты спросил меня: «Но ты надеешься когда-нибудь полюбить меня?» – я почувствовала, что люблю тебя. Ты был тогда таким покорным! Оставайся таким, таким я тебя люблю. Когда я вижу, как ты дрожишь и убегаешь от любви, которая ищет тебя, мне кажется, что я моложе и доверчивее тебя. Это возбуждает во мне гордость и чарует меня, жизнь больше меня не пугает, мне думается, что я могу отдать ее тебе; но когда ты смелеешь, когда ты требуешь от меня большего, я теряю надежду, я боюсь любить, боюсь жить. Я страдаю и жалею, что обманулась еще раз.

– Несчастная женщина! – сказал Стенио, побежденный жалостью.

– О, если бы ты мог всегда оставаться таким робким, таким смятенным, когда я тебя ласкаю! – сказала она, снова притягивая его голову и кладя ее себе на колени. – Погоди,

дай мне обнять твою белую шею, она блестит, как античный мрамор; дай мне погладить твои волосы, такие мягкие и шелковистые; они так скользят и так льнут к моим пальцам. Юноша, какая у тебя белая грудь! Как гулко, как порывисто бьется твое сердце! Это хорошо, дитя мое. Только есть ли в этом сердце уже зачатки настоящего мужества? Сумеет ли оно пройти по жизни, не надломившись, не иссушив себя? Погляди, над тобою всходит луна, луч ее отражается у тебя в глазах. Вдохни вместе с этим ветерком запахи трав и цветущего луга. Я узнаю запах каждого растения, я чувствую, как они льются один за другим в воздухе, который их уносит. Только что пахло диким тмином, а перед этим нарциссами с озера, а сейчас вот пахнуло геранью из сада. Как, должно быть, радостно воздушным сильфидам гоняться за этими тонкими запахами и в них окунаться. Ты улыбаешься, мой прелестный поэт, усни.

– Уснуть! – повторил Стенио удивленно и с укором.

– А почему бы и нет? Разве ты не спокоен теперь, разве не счастлив?

– Счастлив – да, но могу ли я быть спокоен?

– Ну, раз так, значит, ты меня не любишь! – воскликнула она, отталкивая его.

– Лелия, вы делаете меня несчастным, пустите меня.

– Трус! Как вы боитесь страдания! Идите! Ступайте прочь!

– Нет, не могу, – ответил он, снова падая перед ней на колени.

– Боже мой! – вскричала она, обнимая его. – Зачем же страдать? Вы не знаете, как я вас люблю: мне нравится ласкать вас, смотреть на вас, как будто вы мой ребенок. Я ведь никогда не была матерью, но мне кажется, что у меня к вам такое чувство, будто вы мой сын. Я люблю вашу красоту – и это целомудренная материнская нежность... Да и какие другие чувства могу я питать к вам?

– Значит, у вас не может быть любви ко мне? – спросил он дрожащим голосом; сердце его разрывалось.

Лелия ничего не ответила; она судорожно провела руками по его пышным волосам, локонами спадавшим на лоб, склонилась над ним и смотрела на него так, как будто хотела вложить в один взгляд силу нескольких душ, в один миг – упоение сотни жизней. Потом, обнаружив, что сердце ее менее пламенно, нежели ум, и надежда слабее, нежели мечта, она еще раз отчаялась в жизни. Рука ее бессильно повисла; она печально посмотрела на луну; потом поднесла руку к сердцу и глубоко вздохнула.

– Увы! – сказала она раздраженно и с грустью на него посмотрела. – Счастливы те, которые могут любить.

Глава XXVI

Виола

У подножия садовых террас маленькая речка струилась в густой тени тисов и кедров, исчезая под их низко нависшими ветвями; под одним из этих таинственных сводов виднелось мраморное надгробие, и его отражение; белизною своей оно резко выделялось среди темных отсветов окружавшей его листвы. Легкий ветерок едва колыхал чистые контуры отражавшегося в воде мрамора; разросшийся выюн обвивал его с обеих сторон: гирлянды голубых колокольчиков свисали вокруг заброшенных скульптур, совсем уже потемневших от дождя. Груды и руки коленопреклоненных фигур поросли мхом; печальные кипарисы сонливо опускали свои ветви на эти неподвижные головы, укрывая от глаз обреченную на забвение могилу.

– Вот, – сказала Лелия, раздвигая высокую траву, скрывавшую надпись, – вот могила женщины, умершей от любви и страдания!..

– В этом памятнике столько поэзии и благоговения, – сказал Стенио. – Посмотрите, как им гордится природа! Как ласково обвивают его гирлянды цветов, как обнимают его деревья, как нежно воды реки лобзают его подножие! Бедная женщина, умершая от любви! Бедный ангел, осужденный жить на земле и скитаться среди людей; наконец-то ты мирно спишь в своем гробу и больше не страдаешь, Виола! Ты спишь, как этот ручеек, ты простерла на своем мраморном ложе свои усталые руки, похожие на ветви склоненного над тобой кипариса. Лелия, возьми с могилы этот цветок, укрой его на груди, нюхай его почаще, только нюхай скорее, пока, оторванный от стебля, он не утратил свой чистый аромат, – может быть, это и есть душа Виолы, душа женщины, любившей до самой смерти. Виола! Если частица вас живет в этих цветах, если дыхание любви и жизни перешло в эту таинственную чашечку из вашей груди, неужели вы не можете проникнуть и в сердце Лелии? Неужели вы не можете согреть воздух, которым она дышит сейчас, и сделать, чтобы она перестала быть бледной, холодной и мертвой, как эти статуи, которые печально смотрят на свои отражения?

– Дитя! – сказала Лелия, бросая цветок в лениво текущий ручей и следя за ним рассеянным взглядом. – Неужели ты думаешь, что и меня не точит страдание, столь же глубокое и немилосердное, как то, что убило эту женщину? О, что ты знаешь? Может быть, это была жизнь очень богатая, очень полная, очень плодотворная. Жить в любви и от любви умереть! Какая прекрасная участь для женщины! Под каким огненным небом ты родилась, Виола? Откуда в сердце твоём нашлось столько силы, что оно разорвалось на части, вместо того чтобы сжиматься под тяжестью жизни? Какое божество вложило в тебя эту неодолимую мощь, лишить которой может только смерть? О высокое, высочайшее из созданий! Ты не склонила голову под ярмом, ты не захотела примириться с судьбой, и, однако, ты не спешила умереть, как те слабые существа, которые убивают себя, чтобы не дать себе исцелиться. Ты была так уверена, что не найдешь утешения, что погибала медленно, не делая ни шагу вперед, к могиле, и не отступая ни на шаг назад, к жизни; смерть пришла и захватила тебя, слабую, разбитую, уже мертвую, но все еще стойкую в своей любви, говорившую природе: «Прощай, я презираю тебя и не хочу исцеления. Храни благодеяния твои, твою исполненную обмана поэзию, твои успокоительные иллюзии и усыпляющее забвение и непоколебимый скептицизм; побереги это все для других, а я хочу любить или умереть!» Виола! Ты оттолкнула даже Бога, ты открыто возненавидела эту несправедливую силу, которая сделала участью твоей одиночество и страдание. Ты не пришла на берега этих вод петь печальные гимны, как поет Стенио в те дни, когда я его огорчаю; ты не простиралась ниц в храмах, как Магнус, когда им овладевает бес отчаяния; ты не подавляла чувств своих размышлени-

ями, как Тренмор; ты не убивала, как он, страстей своих хладнокровием, чтобы жить на их обломках гордой и одинокой. И ты, как Лелия, не...

Она не договорила до конца; облокотившись на мрамор и пристально глядя на бегущие волны, она не слышала Стенио, молившего ее открыть ему душу.

— Да, — сказала Лелия после продолжительного молчания, — она умерла! И если какая-нибудь человеческая душа заслужила, чтобы ее взяли на небеса, то это она. Она сделала больше, чем ей было определено. Она испила чашу горечи до дна, потом, отвергнув награду, которая ждала ее после этого испытания, отказавшись забыть и презреть свое горе, она разбила чашу и сохранила яд в сердце своем как самое горькое сокровище. Она умерла! Умереть от горя! А мы все, мы живы! Даже вы, юноша, вы, который полон еще сил, чтобы вынести страдание, вы живете или начинаете говорить о самоубийстве, а ведь это было бы малодушием, большим, чем выносить эту поруганную жизнь, которую нам оставляет презревший нас Господь!

Видя, что она стала еще печальнее, Стенио начал петь, чтобы развлечь ее. В то время как он пел, слезы струились из его глаз; но он совладал со своим страданием и искал в своей надломленной душе вдохновения, чтобы утешить Лелию.

Глава XXVII

– Ты часто говорила мне, Лелия, что я молод и чист, как ангел, иногда ты говоришь мне, что любишь меня. Сегодня утром еще ты улыбалась мне и сказала: «Счастье мое – это ты, ты один». Но к вечеру ты все позабыла и безжалостно опрокидываешь то, на чем зиждется мое счастье.

Ну что же, сломай меня, как этот цветок, который ты только что нюхала и который ты теперь бросила на прибрежном песке: если тебе будет интересно посмотреть, как меня унесет прихоть волны и будет подкидывать и мять на пути, если ты испытасшь при этом удовлетворение, ироническое и жестокое, разорви меня, кинь под ноги; не забудь только, что в тот день и час, когда ты захочешь поднять меня и понюхать еще раз, ты увидишь меня расцветшим, готовым ожить от твоих ласк.

Ну что же, моя бедная, ты будешь любить меня так, как сможешь. Я хорошо знал, что ты уже не можешь любить так, как люблю я; к тому же это ведь справедливо, что из нас двоих на твою долю выпадет повелевать. Я не заслужил той любви, какую заслужила ты, я не страдал, не боролся, как ты. Я ведь еще дитя, у меня нет ни славы, ни ран, жизнь моя только начинается, и мне еще предстоит бороться. Ты, разбитая громом, ты, сто раз поверженная и всякий раз подымавшаяся снова, ты, которая не способна понять Бога и все-таки веришь, ты, которая оскорбляет его и любит, ты, увядшая, как старик, и в то же время юная, как ребенок, Лелия, бедная душа моя, люби меня так, как сможешь; я всегда буду стоять перед тобой на коленях, чтобы благодарить тебя, и я отдам тебе все мое сердце, всю жизнь мою взамен того немногого, что ты еще можешь мне дать.

Позволь мне только любить тебя; прими без презрения страдания, которые я, как очистительную жертву, несу к твоим ногам; позволь мне истратить мою жизнь и сжечь мое сердце на алтаре, который я тебе воздвиг. Не жалея меня, я еще счастливей, чем ты, ведь это за тебя я страдаю! О, если бы я только мог умереть от любви к тебе, так, как от любви умерла Виола! Сколько наслаждения в муках, которые ты вложила мне в грудь, сколько счастья в том, чтобы быть всего лишь твоей игрушкой и твоей жертвой, в том, чтобы искупить, будучи юным, чистым и смиренным, застарелую несправедливость, ропот, безверие, которые нависли над твоей головой!

Ах, если бы можно было отмыть пятна чужой души большим страданием и кровью из своих жил, если бы можно было искупить ее грехи как новоявленный Христос, и отказаться от своей доли вечного блаженства, чтобы она не канула в небытие!

Так вот, я вас люблю, Лелия. Вы этого не знаете, ибо не хотите знать. Я не прошу вас уважать меня и еще меньше – меня жалеть; только придите ко мне, когда вы будете страдать, и причините мне какую хотите боль, лишь бы рассеять ту, что вас гложет...

– Пойми, сейчас я нестерпимо страдаю, – сказала Лелия, – в груди моей клокочет гнев. Может быть, ты будешь богохульствовать за меня? Мне это, может быть, принесло бы облегчение. Может быть, ты закидаешь камнями небо, будешь поносить Провидение, проклинать вечность, призывать силы мрака, поклоняться злу, ратовать за разрушение всего сотворенного Богом, за презрение к его алтарям.

Слушайте, может быть, вы способны убить Авеля, чтобы отомстить Богу – моему тирану? Может быть, вы станете выть как испуганная собака, которая видит на стене причудливые блики луны? Может быть, вы станете кусать землю и есть песок, как Навуходоносор?¹² Может быть, вы, как Иов¹³, изольете мой гнев и ваш в яростных проклятиях? Может

¹² ...вы станете кусать землю и есть песок, как Навуходоносор? – По библейской легенде, царь Вавилона Навуходоносор (VI в. до н. э.), разгромив Иерусалим, угнал евреев в рабство и всячески угнетал их, за что Бог наслал на него безумие;

быть, вы, чистый и благочестивый юноша, погрузитесь по уши в скептицизм и скатитесь в пропасть, в которой я гибну? Я страдаю, и у меня нет больше сил кричать. Так богохульствуйте за меня! Как, вы плачете!.. Вы еще можете плакать? Счастливы те, кто плачет. Глаза мои суше, чем песок пустыни, на который никогда не упадет ни капли росы, а сердце мое еще того суше. Вы плачете? Ну что же, послушайте же, чтобы развлечься, песню одного иностранного поэта, которую я перевела.

Навуходоносор превратился в животное и семь лет питался травой.

¹³ *Иов* – библейский патриарх, прославившийся тем, что сохранял непоколебимую веру в Бога, несмотря на все испытания, которым тот подвергал его. И все же были минуты, когда Иов роптал и проклинал день, в который увидел свет.

Глава XXVIII

Гимн Богу

«Что же я сотворила такое, чтобы меня поразило это проклятие? Почему ты оставил меня? Ты не отказываешь в солнце ленивым травам, ты не отказываешь в росе незаметным колосьям в поле; ты даришь тычинкам цветка могучую силу любви и чувство счастья – бесчувственному кораллу. А у меня, которую тоже сотворила твоя десница, у меня, которую ты как будто создал натурой высокоодаренной, у меня ты отнял все, ты поступил со мною хуже, чем со своими падшими ангелами; у них ведь есть еще сила ненавидеть и проклинать, а у меня нет и ее! Ты поступил со мною хуже, чем с илом на дне ручейка и песками дороги, ибо их топчут ногами, а они ничего не чувствуют. А я чувствую, что существую, и не могу укусь попирающую меня ногу и избавиться от проклятия, которое давит меня, как гора.

Почему ты так обошла со мной, неведомая сила, чья железная длань простерта теперь надо мной? Почему ты заставила меня родиться человеческим существом, если так скоро решила превратить меня в камень и, ни на что не нужную, вытолкнуть вон из жизни? Чего ты хочешь? Возвысить меня надо всеми или унижить меня, о бог мой! Если таков удел избранных, то сделай, чтобы он был мне легок и чтобы я перенесла его без страданий; если же это стезя наказания, то почему ты повел меня по ней? О, горе мне! Неужели я была виновна еще до рождения?

Что такое душа, которою ты меня наделил? Это ли называют душой поэта? Всегда колеблющаяся, как свет, всегда блуждающая, как ветер, всегда жадная, всегда тревожная, всегда трепещущая, всегда ища устойчивости во внешнем мире, растрчивающая себя всю, едва успевая набраться сил. О, жизнь! О, мука моя! Всего домогаться и ничего не охватить, все понять и ничем не владеть! Дойти до скептицизма сердца так, как Фауст дошел до скептицизма ума! Участь еще более ужасная, чем участь Фауста; ибо он хранит в груди своей сокровища юных и пылких страстей, созревших в тишине под книжною пылью и дремавших в то время, когда бодрствовал ум; ведь когда Фауст, уставший искать совершенство и не находить его, останавливается, готовый проклясть Создателя и от Него отречься, Бог, чтобы его наказать, посылает ему ангела мрачных и роковых страстей. Этот ангел от него не отходит, он согревает его, молодит, сжигает, сбивает с пути, пожирает, и старик Фауст вступает в жизнь юным и бодрым, проклятым, но всемогущим! Он уже больше не любит Бога, но он полюбил Маргариту. Господи, прокляни меня так же, как Ты проклял Фауста!

Господи, Ты ведь не можешь удовлетворить меня. Ты это хорошо знаешь. Ты не хочешь быть для меня всем! Ты не раскрываешься мне со всей полнотой, чтобы я могла овладеть Тобою и привязаться к Тебе безраздельно. Ты притягиваешь меня к себе, Ты ласкаешь меня благоуханным дыханием Твоих небесных ветров, Ты улыбаешься мне, проглядывая между золотистыми облаками, Ты являешься мне в моих снах, Ты призываешь меня, Ты непрерывно побуждаешь меня взлететь к Тебе, но Ты позабыл дать мне крылья. Зачем же Ты тогда дал мне душу, которая стремится к Тебе? Ты все время от меня ускользаешь, Ты окутываешь это прекрасное небо и всю прекрасную природу тяжелыми тучами. Ты направляешь на цветы знойное дыхание юга, которое их иссушает, а меня Ты овеваешь холодным ветром, который леденит и пронизывает до мозга костей. Ты посылаешь нам пасмурные дни и беззвездные ночи, потрясаешь нашу жалкую вселенную бурями, которые раздражают нас, опьяняют, помимо воли делая нас дерзкими атеистами! И если в эти мрачные часы нас одолевает сомнение, Ты будишь в нас угрызения совести, и во всех голосах земли и неба начинается звучать упрек!

Зачем, зачем Ты создал нас такими! Какая Тебе польза от наших страданий? Какую славу наше уничтожение и наша гибель может прибавить к Твоей славе? Неужели муки эти

нужны человеку, для того чтобы он устремился к небу? Неужели надежда – это хилый и бледный цветок, растущий только на скалах, где его овевают грозы? Драгоценный цветок, нежный аромат, приди же и поселись в этом высохшем и опустошенном сердце! Ах, ты давно уже напрасно стараешься омолодить его; корни твои больше не могут укрепиться на его непроницаемых стенах, его ледяная атмосфера иссушает тебя, его бури вырывают тебя и, сломанного, увядшего, бросают наземь!.. О надежда! Неужели ты больше не можешь расцвести для меня?..»

– Эти песни печальны, эта поэзия жестока, – сказал Стенио, выхватывая у нее из рук арфу, – вам по душе это мрачное раздумье, и вы без жалости меня терзаете... Нет, это вовсе не перевод иностранного поэта; текст этой поэмы идет из глубины вашей души, Лелия, я это знаю! О жестокая и обреченная! Послушайте эту птицу, она поет лучше вас, она воспевает солнце, весну и любовь. Это маленькое существо устроено лучше, чем вы. Вы ведь можете воспевать только страдание и сомнение.

Глава XXIX В пустыне

– Я привел вас в эту пустынную долину, которую никогда не топтали стада, ни разу не осквернила нога охотника. Я провел вас туда, Лелия, через пропасти. Вы без страха одолели все опасности этого пути; спокойным взглядом измеряли вы расселины, бороздящие глубокие ледники, вы переходили их по доске, которую перебрасывали наши проводники; доска эта качалась над бездонными пропастями. Вы перебирались через водопады легко и свободно; так белый аист шагает с камня на камень и засыпает, согнув шею, поддерживая тело в равновесии, стоя на тонкой ноге среди бурного потока, который извивается над пропастью, извергающей пену. Вы ни разу даже не вздрогнули, Лелия, а я, как я дрожал! Сколько раз кровь моя леденела, сколько раз замирало сердце, когда я видел, как вы проходили так над бездной, беспечная, рассеянная, глядя на небо и не удостаивая даже взглядом уступов, которых касалась ваша маленькая нога! Вы очень храбрая и очень сильная, Лелия! Когда вы говорите, что душа ваша измождена, – это ложь: нет человека более смелого и уверенного в себе, чем вы.

– Что такое смелость? – ответила Лелия. – И у кого ее нет? Кто в наше время любит жизнь? Эта беспечность зовется храбростью, когда она способна что-то создать, но когда риску подвергают ни на что не нужную жизнь, то не просто ли это леность?

Леность, Стенио! Это недуг, одолевающий наши сердца, это великий бич современности. В наши дни существуют только отрицательные добродетели, мы храбры, потому что мы уже разучились испытывать страх. Увы, все исчерпало себя, даже слабости, даже человеческие пороки. У нас уже нет той силы, которая заставляет любить жизнь упорной и вместе с тем трусливой любовью. Когда на земле было еще много энергии, люди воевали хитро, благоразумно, расчетливо. Жизнь была непрерывным сражением, борьбой, в которой самые храбрые неизменно отступали перед опасностью, ибо самым храбрым оказывался тот, кто мог дольше всех жить среди опасностей и людской злобы. С тех пор как цивилизация сделала жизнь легкой и спокойной для всех, все стали находить ее однообразной и скучной; ее ставят на карту из-за одного слова, из-за одного взгляда – так мало она значит! Это безразличие к жизни и породило у нас дуэли. Вот зрелище, в котором нашла себе выражение вся апатия нашей эпохи: двое людей спокойно и вежливо бросают жребий, кому из них убивать другого – без ненависти, без гнева, без пользы. Увы, Стенио, мы больше ничего не стоим, мы ни добры, ни злы, мы даже не подлецы – мы просто инертны.

– Вы правы, Лелия, когда я окидываю взглядом общество, я печалюсь так же, как и вы. Но я привел вас сюда, чтобы вы могли хотя бы на несколько дней это общество позабыть. Посмотрите, где мы с вами сейчас, разве это не изумительно? Можно ли тут думать о чем-нибудь другом, кроме Бога? Сядьте на этот мох, по которому ни разу не ступал человек, и взгляните на бездонные глубины у вас под ногами. Случалось ли вам когда-нибудь видеть природу такую дикую и такую полную жизни?

Взгляните, как упорны эти беспорядочно разбросанные кусты, как неумны эти леса, которые ветер гнет и колышет, эти грозные орлиные стаи, непрерывно парящие над окутанными туманом вершинами, описывая в воздухе круги, словно огромные черные кольца на белой муаровой скатерти ледника? Слышите шум, который подымается отовсюду? Потоки, которые плачут и рыдают, как души грешников, олени, которые стонут жалобно и страстно, ветер, который поет и хохочет над вереском, грифы, которые кричат, как испуганные женщины; и эти вот другие шумы, странные, таинственные, *неописуемые*, которые глухо грохочут в горах, эти потрескивающие в недрах своих гигантские ледяные глыбы, эти снежные обвалы, уносящие за собою песок, Эти могучие корни деревьев, которые без усталости борются

с недрами земли и усилиями своими вздымают камень и раскалывают шифер, эти неведомые голоса, эти неясные вздохи, которые почва в вечных родовых схватках исторгает из своих зияющих глубин. Разве во всем этом не больше великолепия, не больше гармонии, чем где-нибудь в церкви или в театре?

– Все это действительно красиво, и именно сюда надо приходить, чтобы видеть, сколько у земли еще юности и силы. Бедная земля! Она тоже идет к своей гибели!

– Что вы говорите, Лелия! Неужели вы думаете, что земля и небо виноваты в нашем духовном растлении? Дерзкая мечтательница, неужели вы обвиняете и их?

– Да, я их обвиняю, – ответила она, – скорее, впрочем, я обвиняю великий закон времени, который всему на свете велит истощаться и гибнуть. Неужели вы не видите, что лавина веков уносит нас всех, людей и миры, чтобы вечность поглотила нас, как те сухие листья, которые мчатся к пропасти, увлекаемые потоком? Увы, после нас не останется даже этой жалкой трухи! Мы даже не всплывем на поверхность, как увядшие травы, те, что плывут там, печальные, и стелются по воде, словно волосы утопленницы. Трупы империй обратятся в тлен, человеческий прах смешается с морскими песчинками. Бог свернет всю вселенную в комок, как старое тряпье, которое надо выкинуть, как платье, которое сбрасывают с себя, потому что оно ни на что не нужно. Тогда Бог *останется один*. Тогда, может быть, ничто не заслонит Его могущества, Его сияния. Но кто тогда их увидит? Родятся ли из нашего праха новые расы людей, чтобы увидеть или чтобы угадать Того, Кто творит и Кто разрушает?

– Мир погибнет, я это знаю, – сказал Стенио, – но для того, чтобы его разрушить, понадобится столько веков, что мозг человеческий даже не в силах все это исчислить. Нет, нет, это еще не агония мира. Мысль эта могла зародиться только в раздраженной душе какого-нибудь скептика вроде вас; но я чувствую, что мир еще молод: сердце мое и разум говорят мне, что он не достиг еще и середины жизни, не вступил в пору своего расцвета; мир еще развивается, ему предстоит еще столько всего узнать!

– Без сомнения, – иронически ответила Лелия, – он еще не постиг тайны воскрешать мертвых и делать живых бессмертными; но он совершит и эти великие открытия, и тогда миру не будет конца, человек станет сильнее Бога и сумеет выжить без помощи посторонней силы, опираясь только на свой собственный разум.

– Вы все шутите, Лелия! Но послушайте: не думаете ли вы, что люди сегодня стали лучше, чем были вчера, и поэтому...

– Я этого не думаю, но какое это имеет значение? Мы с вами разных мнений о возрасте мира, вот и все.

– Если бы мы знали его в точности, – сказал Стенио, – мы нисколько бы не подвинулись вперед. Мы не знаем тайны его создания, мы не знаем, сколько времени мир, устроенный так, как наш, может и должен жить. Но сердцем я чувствую, что мы движемся к свету и к жизни; на нашем небе сияет надежда, взгляните только, как прекрасно солнце! Какое оно яркое, какое щедрое, как оно улыбается горам, которые покрываются багрянцем от его ласк и краснеют от любви, как робкая девушка! Существование Бога доказывается отнюдь не логикой разума. Люди верят в Бога, потому что неизъяснимое чувство подсказывает им, что Он существует. То же самое относится и к вечности – ее нельзя измерить мерилom точных наук, но человек ощущает душою присутствие в духовном мире свежести, силы, так же как своим физическим существом он чувствует присутствие в воздухе живительных и укрепляющих начал. Неужели вы будете вдыхать этот ароматный, горный воздух и он не проникнет в вас? Неужели вы будете пить эту прозрачную ледяную воду, пахнущую мятой и диким тмином, и даже не ощутите ее дивной свежести? Неужели вы не почувствуете себя помолодевшей и возрожденной, овеянная этим легким и нежным ветерком, среди цветов, таких красивых, таких гордых, оттого что они ничем не обязаны человеку? Обернитесь и взгляните на эти густые кусты рододендрона; как свежи, как чисты эти пучки лиловых цветов! Как они пово-

рачиваются к небу, чтобы увидеть его лазурь, чтобы собрать росу! Цветы эти красивы, как вы, Лелия, они от всего отчуждены и дики, как вы; неужели вам непонятно, как они могут возбудить к себе любовь?

Лелия улыбнулась и, устремив свой взор на пустынную долину, погрузилась в раздумье.

– Конечно, нам следовало бы жить здесь, – сказала она наконец, – чтобы сохранить то небольшое, что еще осталось у нас в сердце, но достаточно нам было бы провести тут три дня, и растительность бы поблекла и воздух бы потерял свою свежесть. Человек не может жить, не истерзав чрева своей кормилицы, не истощив почвы, которая его взрастила. Он непременно хочет исправить и переделать творение Божье. Повторяю: достаточно вам пробыть здесь три дня, и вам захочется перетащить камни с горы в глубину долины и пересадить кустарники, растущие во влажных расселинах, на бесплодную каменную вершину. У вас это называют «разбивать сад». Если бы вы явились сюда пятьдесят лет назад, вы бы непременно поставили здесь еще статую и беседку.

– Вы все шутите, Лелия! Вы еще можете смеяться здесь, среди всего этого величия! Без вас я бы, может быть, лежал здесь, простертый перед Творцом, который все это создал. Но вы мой злой дух, вы этого не захотели. И я должен слушать, как вы отрицаете все, даже красоту природы.

– Я вовсе ее не отрицаю! – вскричала она. – Слышали вы разве, чтобы я что-нибудь отрицала? Разве я оставалась хоть на миг равнодушна к красоте и величию какой-нибудь веры? Но кто даст мне силы обманывать себя? Увы, почему Богу было угодно создать такое несоответствие между иллюзиями человека и действительностью? Почему каждый раз приходится страдать оттого, что хочешь счастья, которое является нам каждый раз в ореоле красоты, парит в наших мечтах и никогда не спускается на землю? Не только наша душа страдает от отсутствия Бога, а и все наше существо – наши глаза, наше тело – страдает от равнодушия или суровости неба.

Скажите мне, есть где-нибудь на земле такой климат, чтобы человеку не было ни слишком холодно, ни слишком жарко? Есть еще такая долина, где зимою бы не было сыро? Есть ли горы, где бы ветер не иссушал и не вырывал траву? На Востоке изможденные зноем люди прозябают, томятся, они всегда лежат, всегда бездельничают. Женщины там блекнут под сенью гаремов, ибо солнце их просто бы спалило. А потом сухой, жгучий ветер поднимается с моря и, кружа головы этому склонному к лени народу, порождает преступления или героические деяния, неведомые нам, северянам. Тогда эти люди опьяняются деятельностью, изливают в диких криках, кровавых наслаждениях и ничем не сдерживаемых оргиях ту силу, которая до сих пор в них дремала, пока наконец, изведенные страданием и усталостью, отупевшие до предела, они снова бессильно не опускаются на свои диваны.

И однако, это еще самые закаленные, самые энергичные народы: самые счастливые в часы отдыха и самые неистовые в работе. Взгляните на народы жаркого пояса – солнце поистине к ним великодушно. Растения там необыкновенно велики, земля изобилует плодами, ароматами и красотой. Там царит какая-то особая, кичливая роскошь красок и форм. Птицы и насекомые там сверкают, как драгоценные камни, цветы источают пьянящие ароматы. Благовонны там и покрытые толстой корой деревья. Ночи там прозрачны, как наши осенние дни, звезды кажутся раза в четыре крупнее. Природа там щедрa и прекрасна.

Человек, еще грубый и простодушный, не ведает иных зол, какие изобрели мы. Как по-вашему, счастлив он? Нет. Ему приходится бороться со стадами отвратительных диких зверей. Возле его жилья рычит тигр. Змея, это холодное и скользкое чудовище, более страшное для человека, чем любой другой враг, подползает к колыбели его ребенка. Его настигает гроза, эти страшные корчи могучей стихии, которая взвизгивает на дыбы, как разъяренный бык, раздирает себя самое, как раненый лев. Человеку остается либо бежать, либо гибнуть:

ветер, молния, вышедшие из берегов потоки опрокидывают и уносят его хижину, заливая его поле, увлекая за собою стада. Ложась спать, он не знает, увидит ли опять родные места, когда проснется; слишком уж много было в этих родных местах красоты: Господь не пожелал их сохранить. Каждый год приходится искать себе новое пристанище. Богу неприятен вид счастливого человека. О Господи! Ты, может быть, тоже страдаешь, Тебе, может быть, тоже скучно среди всей Твоей славы, коль скоро Ты причиняешь нам столько зла!

Так вот, эти дети солнца, которым мы, поэты, завидуем в наших мечтах, как земным избранникам, разумеется, спрашивают себя порою, не существует ли страны, облюбованной небом, которая не исполосована потоками раскаленной лавы, которую не опустошают разрушительные ветра, страны, которая пробуждается по утрам такая же ровная, спокойная и теплая, какой была накануне. Они спрашивают себя, неужели Бог в гнев своем населил все земли жаждущими крови пантерами и отвратительными змеями; может быть, эти простые люди мечтают о земном рае под нашими умеренными широтами, может быть, они видят во сне, как холодный туман опускается на их загорелые лица и смиряет окружающий их неумемный зной. Мы-то ведь в снах наших видим красное и горячее солнце, сверкающую равнину, раскаленное море, а под ногами – горячий песок. Мы призываем южное солнце отогреть наши заочевенные спины, а южане готовы вымалывать капельки нашего дождя, чтобы увлажнить ими горящую грудь. Так повсюду человек страдает и ропщет: это нежное и нервное создание напрасно возмнило себя царем вселенной; он – ее самая несчастная жертва, он – единственная из всех живых тварей, чей интеллект находится в таком великом несоответствии с физической силой. Среди тех, кого он называет грубыми животными, властвует материальная сила, инстинкт у них не более чем средство сохранить жизнь. У человека развитый сверх меры инстинкт сжигает и мучит его хрупкий и слабый организм. Он бессилён, как моллюск, и при этом вожделеет, как тигр; ничтожество и нужда заточают его в черепашую скорлупу; честолюбие, беспокойство раскрывают в его мозгу орлиные крылья. Он хотел бы соединить в себе способности всех рас, но у него есть только одна способность – тщетно к чему-то стремиться. Он окружает себя останками прошлого; недра земли отдают ему золото и мрамор, он растирает цветы, добывая из них ароматные вещества, убивает птиц, чтобы украсить себя самыми красивыми перьями из их крыльев; нырки и гагары уступают ему свои пуховые шубки, чтобы разогреть его онемевшее, холодное тело; шерсть, меха, панцирь черепахи, шелк, внутренности одного зверя, зубы другого, шкура третьего, кровь и сама жизнь всех существ принадлежат человеку. Жизнь человека поддерживается лишь разрушением; и однако, до чего же эта жизнь печальна и коротка!

Самое страшное из всего, что создали художники и поэты, поддаваясь причудам своей необычайной фантазии, и самые частые картины, преследующие нас в кошмарах, – это шабаш оживших трупов, окровавленных скелетов животных и разного рода чудовищные несообразности: птичьи головы на лошадиных туловищах, крокодильи морды на верблюжьих шеях; это нагромождение человеческих костей, это оргия ужаса, от которой пахнет кровью, это вопли страдания и зловещие крики изменившихся до неузнаваемости животных. Неужели вы считаете, что сны – это простая игра случая? Не кажется ли вам, что помимо законов, связей и привычек, утвержденных правом и властью, у человека могут быть еще тайные угрызения совести, смутные, инстинктивные, – и никакой ход его повседневных мыслей не может склонить его признаться в том, что его мучит, и поделиться с кем-нибудь своей тайной? Угрызения эти выявляются только в суеверном страхе и в сновидениях. Теперь, когда нравы, обычаи и верования разрушили некоторые стороны нашей духовной жизни, жизнь эта запечатлелась в каких-то уголках нашего мозга и может быть обнаружена, лишь когда наше сознание засыпает.

Есть немало других сокровенных ощущений такого же рода. Есть воспоминания, словно оставшиеся в нас от прежней жизни; дети, появляясь на свет, несут с собою страда-

ния, уже испытанные в могиле, ибо очень может быть, что человек покидает холодный гроб, чтобы улечься в мягкой и теплой колыбели. Кто знает! Не прошли ли мы все через смерть и хаос? Эти страшные картины преследуют нас во всех наших снах! Откуда у нас этот живой интерес к угасшим жизням, откуда эти сожаления и эта любовь к людям, от которых в истории человечества осталось всего-навсего одно имя? Не есть ли это бессознательное влечение памяти? Иногда мне кажется, что я знала Шекспира, что я плакала вместе с Торквато, что вместе с Данте проносила по небу и аду. Одно имя былых времен возбуждает во мне чувства, похожие на воспоминания, так как некоторые запахи экзотических растений напоминают нам страны, откуда эти растения привезены. Тогда наше воображение ведет себя с ними так, как будто они ему давно привычны, как будто нога наша ступала уже по этой неведомой стране, в которой, однако, как мы думаем, мы никогда не жили и не умирали. Что мы, несчастные, обо всем этом знаем?

– Мы знаем только то, что мы не можем этого знать, – сказал Стенио.

– Вот это-то нас и мучит, Стенио! – воскликнула она. – Бессилие, которое целой вселенной, поработанной и покалеченной, плохо удастся скрыть под блеском своих иллюзорных трофеев. Искусство, промышленность, науки, нагромождения цивилизации – что это, как не постоянные попытки человеческой слабости утаить свои недуги и прикрыть свою нищету? Поглядите, может ли роскошь, сколько бы изобилия, сколько бы утех она ни несла, создать в нас новые чувства или усовершенствовать организм человека; поглядите, удалось ли непомерно развитому человеческому разуму применить теорию на практике; привели ли все усилия к тому, что наука продвинулась за пределы недостижимого; чудовищно возбуждая наши страсти, вкусили ли мы всю полноту наслаждения? Сомнительно, чтобы прогресс, достигнутый шестьюдесятью веками поисков, мог сделать существование человека терпимым и уничтожить для многих необходимость самоубийства.

– Лелия, я даже не пытался доказать вам, что человечество достигло апогея своего величия. Напротив, я уже говорил вам, что, на мой взгляд, еще немало поколений сменяют друг друга, прежде чем достичь этой высоты, а достигнув ее, оно, может быть, сумеет продержаться еще века, прежде чем дойдет до той степени падения, какую вы приписываете ему сейчас.

– Как вы можете думать, юноша, что мы идем неуклонно вперед, если вы видите, что вокруг вас гибнет столько убеждений и на смену им не приходят новые, если вы видите, что все общество вразброде и не стремится жить в соответствии с законами природы, все способности истощаются от излишеств, все устои, вчера еще незыблемые, начинают обсуждаться и становятся игрушками для детей, и на смену им не приходят принципы новой веры. Не так ли обноски королевских и священнических одежд стали маскарадными костюмами для народа, у которого есть право быть самому королем и священником, хотя короли все еще царствуют, а народ им служит!

– Да, я знаю, напрасные усилия во все времена томили человечество. Но лучше уж такое время, когда господствует тирания и рабы страдают, чем такое, когда тирания дремлет, оттого что рабы ей безропотно покорились.

– В былые времена, после войн, которые человек вел с человеком, после этих потрясений всего общества мир, еще молодой и сильный, поднимался и восстанавливал свое здание для последующих веков. Этого больше не будет. Мы не только переживаем, как вы считаете, следствие одного из недавних кризисов, когда разум человеческий в утомлении засыпает на поле битвы, прежде чем успевает взять в руки оружие освобождения. Вынужденный падать и подниматься вновь, лежать простертым на боку в надежде увидеть, как его раны откроются и закроются снова, метаться в оковах и, обращая крики свои к небу, доходить до хрипоты, колосс стареет и слабеет: теперь он качается, как развалины, которые вот-вот рухнут, – еще несколько часов предсмертных судорог, и ветер вечности равнодушно прене-

сется над хаосом отпустивших поводья народов, все еще вынужденных оспаривать остатки поверженного мира, который уже не может удовлетворить их потребности.

– Так вы верите в наступление Страшного суда? О моя бедная Лелия! Ваша сумрачная душа порождает эти невероятные ужасы, ибо она слишком велика для мелких суеверий. Но во все времена ум человека занимали мысли о смерти. Аскетические души всегда находили утешение в мрачном раздумье и старались представить себе конец мира и гибель вселенной. Вы не первая пророчите его, Лелия. Иеремия¹⁴ явился раньше вас, и ваша гневная дантовская поэзия не создала ничего столь зловещего, как Апокалипсис, который блаженный безумец распевал в бреду по ночам на скалах Патмоса.

– Я это знаю, но голос Иоанна Богослова, мечтателя и поэта, люди услышали и восприняли. Он поверг в ужас мир, и, хотя его невозможно было понять, он обратил в христианскую веру множество самых заурядных людей, которые были глухи к высоким евангельским истинам, внушив им страх. Иисус отверз небо спиритуалистам, Иоанн отверз ад и выпустил оттуда смерть на бледном коне, деспотизм с окровавленным мечом, войну и голод, скакавших на лошадином скелете, чтобы испугать чернь, которая спокойно переносила все бедствия рабства, но испугалась, увидав их в языческом обличье. А в наши дни пророки вещают в пустыне, и ни один голос не отвечает им, ибо мир ко всему равнодушен; он глух, он ложится и затыкает себе уши, чтобы умереть в покое. Напрасно иные разбросанные по земле кучки сектантов стараются разжечь в людях искорку добродетели. Последние обломки духовной мощи человека, они всего лишь на несколько мгновений вынырнут над бездной, чтобы потом, вместе с другими обломками, погрузиться на дно этого безбрежного моря, которое зальет весь мир.

– О, зачем так отчаиваться, Лелия, в людях, которые стараются в наш железный век возродить добродетель! Если бы я, как вы, сомневался в том, что им это удастся, я не стал бы высказывать этого вслух. Я боялся бы совершить преступление.

– Люди эти меня восхищают, – ответила Лелия, – и я хотела бы быть среди них, пусть даже последней. Но что могут сделать эти пастыри со звездой на челе перед великим чудовищем Апокалипсиса, перед этой огромной и страшной фигурой, неизменно главенствующей над всем, что в писаниях своих изображает пророк. Эта женщина, бледная и прекрасная, как преступление, эта великая блудница народов, украшенная драгоценностями Востока, верхом на гидре, изрыгающей потоки яда на всех человеческих путях, – это цивилизация, это человечество, соvrащенное роскошью и наукой, это ядовитая лавина; она поглотит всякое слово добродетели, всякую надежду на возрождение.

– О Лелия, – воскликнул поэт, охваченный суеверным предчувствием. – Не вы ли этот несчастный и страшный призрак? Сколько раз великий ужас овладевал мною в снах! Сколько раз вы являлись мне как олицетворение невыразимых мук, в которые бросает человека его пытливый разум! Не олицетворяли ли вы с вашей красотой и вашей печалью, с вашей скукой и вашим скептицизмом избыток страдания, порожденный чрезмерностью мысли? Не вы ли высвободили, если так можно выразиться, растратили по мелочам, прельстившись новыми впечатлениями, впадая в новые заблуждения, духовную силу, которую столь развили занятия искусством, поэзией и наукой? Вместо того чтобы, вняв голосу благоразумия, по-настоящему привязаться к простодушной вере ваших отцов и к той прирожденной беззаботности, которую Господь вложил в человека, для того чтобы он мог насладиться отдыхом и сохранить свои силы; вместо того чтобы жить благочестивой и скромной жизнью, вы предались соблазнам тщеславной философии. Вы окунулись в поток цивилизации, который поднимался, чтобы разрушать, и который слишком быстрым своим бегом смысл едва заложенные основания грядущего. И только потому, что вы на несколько дней отодвинули осу-

¹⁴ Иеремия – библейский пророк.

ществование того, что творили века, вы считаете, что разбили песочные часы в руках у времени! В вашем страдании много гордости, Лелия! Но Господь даст схлынуть этому потоку бурных веков – для Него это не более, чем капля воды в море. Ненасытная гидра погибнет без пищи, и из ее труп, который закроет собою весь мир, явится на свет новая порода людей, более сильных и выносливых, чем мы.

– Вы заглядываете далеко вперед, Стенио! Вы олицетворяете для меня природу, а вы ведь ее невинное дитя. Вы еще не пробудили своих способностей, вы считаете себя бессмертным, оттого что чувствуете себя молодым, как эта дикая долина, красивая и гордая в своем цветении, не задумывающаяся над тем, что в один прекрасный день, когда лемех плуга и сторукое чудовище, имя которому промышленность, могут изрыть ее лоно и похитить ее сокровища; вы растете доверчивый и самонадеянный, не видя жизни, которая грядет и которая придавит вас тяжестью своих заблуждений, изуродует вам лицо румянами своих обещаний. Подождите, подождите несколько лет, и вы скажете, как мы: «Всё проходит!»

– Нет, не всё проходит! – воскликнул Стенио. – Взгляните на это солнце, на эту землю, и на это чудесное небо, и на эти зеленые холмы, и даже на этот лед, на эти возведенные морозом хрупкие своды, веками противоборствующие лучам летнего солнца. Так вот, слабый человек восторгается! И значит ли что-нибудь гибель нескольких поколений? Возможно ли, что вы плачете из-за такого пустяка, Лелия? Неужели вы думаете, что хоть одна мысль может умереть во вселенной? Не останется ли это нетленное наследие неприкосновенным под пылью вымерших племен, так же как вдохновенные создания искусства и научных открытий, извлекаемые день ото дня из-под пепла Помпеев или из гробниц Мемфиса? О, великое и потрясающее доказательство бессмертия разума! Глубокие тайны были погребены во мраке времен, мир позабыл, сколько ему лет, и, все еще считая себя молодым, испугался, почувствовав себя вдруг таким стариком. Он говорил, как вы, Лелия: «Час мой скоро пробьет, ибо я слабею, а я еще так недавно родился на свет! Как же мало времени мне будет нужно, чтобы умереть, раз так мало его понадобилось, чтобы вызвать меня к жизни». Но вот настает день, и трупы людей извлекаются из гробниц Египта, Египта, который пережил эпоху цивилизации и который только что вышел из состояния варварства! Египта, в котором вновь вспыхнуло давно исчезнувшее пламя; отдохнув и набравшись сил, оно скоро, может быть, разгорится в нашем потухшем светильнике.

Египет – живое воплощение мумий, проспавших в пыли веков и теперь пробудившихся с расцветом науки, чтобы поведать новому миру возраст старого! Скажите, Лелия, разве это не величественно и не ужасно? В высохших внутренностях трупа пыливый взгляд нашего века отыскивает папирус, таинственный и священный памятник вечного могущества человека, еще темное, но неоспоримое свидетельство очень долгого существования мира. Жадной рукой мы разворачиваем эти пропитанные благовониями повязки, ветхий и вечный саван, перед которым бессильно разрушение. Этот саван, в который обернуто тело, эти манускрипты, которые покоились под ребрами на том месте, где, может быть, когда-то находилась душа, – это человеческая мысль, выраженная непонятными знаками и переданная с помощью искусства, секрет которого для нас утрачен и вновь обретен в гробницах Востока, искусства спасать мертвые тела от укусов разрушения – самой страшной силы на свете. О Лелия, можно ли отрицать молодость мира, видя, как он наивно и простодушно взирает на уроки прошлого и начинает новую жизнь на позабытых развалинах неведомых ему времен!

– *Знать* еще не значит *мочь*, – ответила Лелия, – переучиваться не значит идти вперед; видеть не значит жить. Кто вернет нам способность действовать, и прежде всего – искусство наслаждаться жизнью и ее сохранять? Мы зашли слишком далеко, чтобы отступить назад. То, что было только отдыхом для цивилизаций, которых уже нет, будет смертью для нашей измученной цивилизации; помолодевшие народы Востока будут опьяняться адом, который мы разлили по нашей земле. Отчаянные кутилы, варвары продлят, может быть, на несколько

часов роскошную оргию в ночи времен, но яд, который мы им завещаем, будет столь же смертоносен и для них, как для нас, и все канет во мрак!..

Ах, разве вы не видите, Стенио, что солнце уходит от нас? Разве усталая земля в беге своем не клонится заметно к мраку и хаосу? Разве кровь ваша так уж пьяна и молода, что она не ощущает прикосновений холода, который, подобно траурному одеянию, застилает эту планету, покинутую на волю рока, самого могучего из богов? О, холод! Этот пронизывающий нас недуг, который острыми иглами вонзается во все поры! Это проклятое дыхание, иссушающее цветы и испепеляющее их, как пламя; этот недуг физический и в то же время духовный, который овладевает душою и телом, который проникает в самые глубины мысли и сковывает дух наш и кровь; холод, этот мрачный демон, опустошающий вселенную своим влажным крылом и несущий чуму оцепеневшим от ужаса народам! Холод, который губит все живое, который накладывает свой дымчато-серый покров на яркие краски неба, на отблески воды, на цветы, на лица девушек! Холод, который окутывает своим белым саваном луга, леса, озера, все – даже мех зверей и оперение птиц! Холод, который обесцвечивает все в мире материальном и в мире духовном: зайца и медведя – где-нибудь возле Архангельска, радости человека, и его характер, и нравы – во всех краях, где бывает зима! Вы отлично видите, что все цивилизуется; это значит, что все охладевает. Народы жаркого пояса начинают недоверчиво и боязливо протягивать руки к ловушкам нашей промышленности; тигры и львы становятся ручными и приходят из южных пустынь, чтобы развлекать северян; животные, которые никогда не могли акклиматизироваться у нас, покинули остывающее солнце своей страны и остались живы и, позабыв свою гордую тоску, снедавшую их в неволе, позволили человеку себя приручить. Повсюду кровь истощается и холодеет, по мере того как инстинкт развивается и растет. Душа становится выше и покидает землю, не могущую удовлетворить ее запросов, чтобы похитить с неба огонь Прометея; но, сбившись с пути во мраке, она останавливается в своем беге и падает – это Бог, видя, как она осмелела, простирает длань и заслоняет ей солнце.

Глава XXX

Одиночество

«Вот видите, Тренмор, дитя меня послушало: он оставил меня одну в пустынной долине. Мне здесь хорошо. Тепло. Я нашла приют в заброшенном швейцарском домике, и каждое утро пастухи из соседней долины приносят мне козьего молока и испеченные на костре лепешки. Постель из сухого вереска, плащ вместо одеяла и кое-какая одежда – этого хватит, чтобы прожить неделю или две без особенных неудобств.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.